



Валентин КАТАЕВ

**ТРАВА
ЗАБВЕНЬЯ**



ИЗДАТЕЛЬСТВО
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“
Москва 1967



Валентин КАТАЕВ

ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

...а может быть, это были всего лишь
маленькие звукоуловители, напряжен-
но повернутые в мировое пространство
к источнику колебаний, недоступных
для человеческого уха...



Р 2
К 29

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ И. АНДРОНИКОВА
ОФОРМЛЕНИЕ Г. КАЛИНОВСКОГО

СЛОВО КАТАЕВА

Если даже не знать, кто и когда писал эту книгу, читатель опытный непременно почувствует глаз и руку Валентина Катаева и угадает стиль катаевской прозы шестидесятых годов. Да, Катаев удивительно точно умеет почувствовать время. А в искусстве это особо важное свойство любого таланта.

Но сколько художников-живописцев, музыкантов, поэтов, даже очень талантливых, способны угадать интересы и вкус только одного поколения! И тогда создания, вызывавшие споры и шум, словно меркнут и уходят со временем в прошлое. И вот еще одно свойство Катаева — книги его, всегда обращенные к своему времени, шире и долговечнее этого времени. И долго будут зачитываться повестью, озаглавленной строчкой из Лермонтова, всё новые и новые поколения подростков. И всегда будет белеть одинокий парус для них. И всегда их сердца будут с гордостью биться от сознания приобщенности к величию революционных событий девятисот пятого года. Долгая жизнь суждена этой книге, в которой грозно-прекрасное чередуется с удивительным разнохарактерным юмором — добрым и мягким, едким и острым, с тонкой лирикой, с нежной и легкой грустью воспоминаний о далеком романтическом детстве. В этой повести авантурный сюжет выражен с такой пронзительной поэтической силой, что по емкости я сравнил бы эту книгу с поэмой: умный и сильный художник присутствует в ней ощущением, первоизданность и новизна мира передана сквозь детское восприятие, а серьезность и высокая цель сочинения далеко раздвигают его границы, делая очень значительным. Как повести больших русских писателей прошлого о их детстве адресованы читателям всех, без различия, возрастов, так и «Белеет парус...» был и навсегда останется явлением не детской, а явлением большой советской, большой русской литературы, одной из тех замечательных книг, которые обошли земной шар и не только рассказали о нас, но и проникли в тысячи сердец.

И понятно, что, закончив это пленительное повествование, Катаев не мог расстаться со своими героями, как не мог сразу расстаться со своим детством Горький, не мог Лев Толстой. Одесский гимназистик Петя Бачей и маленький рыбак Гаврик Черноиваненко переселились в новую повесть — «Хуторок в степи», в которой Петя попадает за границу, знакомится в Италии с Горьким, тайно отправляет письмо одесских большевиков во Францию Ленину, становится нечаянным свидетелем доставки в Россию нелегальной партийной литературы. В третьей части этой «симфонии» — Катаев озаглавил ее «Зимний ветер» — закадычные друзья призваны на германский фронт. 1917 год. Совершается великая революция, на Украине идет борьба за Советскую власть, в которой участвуют катаевские герои. В заключительной повести «Катакомбы»

московский инженер Петр Бачей вместе с сыном в июне 1941 года попадает в город своего детства и силою обстоятельств оба — и сын-пионер и отец — принимают участие в героической обороне Одессы, где подпольным райкомом руководит бывший Гаврик — товарищ Черноиваненко. Новые события, новая героика показаны здесь сквозь восприятие Пети Бачея-сына, мальчика нового поколения.

«Волны Черного моря» — так озаглавил писатель эту свою эпопею, охватившую пятьдесят лет истории нашей партии и нашей страны — от первых проявлений политической активности пролетариата до конца Великой Отечественной войны. Это целая галерея достоверных и разнообразных характеров, история прекрасного черноморского города, история одной дружбы и великого испытания сердец. Но создавалась эпопея больше двадцати пяти лет, после первой части появилась четвертая, а уж потом средние две, прочитаны они были вразбивку. И, видимо, в сознании многих читателей так и не сложились в цельную, великолепно написанную картину богатой опытом и событиями жизни того поколения, к которому принадлежит сам Катаев. По-моему, они не получили еще должной оценки.

Сила этих книг в том, что жизнь предстает в них молодой и всегда удивительной, полной подвигов и высокой романтики. Романтика увлекает и в повести «Я, сын трудового народа...», и в «Сыне полка», и в стареющем романе о первой пятилетке «Время, вперед!», вдохновленном поездками на Днепрострой, Ростсельмаш, а более всего — на Магнитку.

Суров, лаконичен и потрясает Катаев в трагическом рассказе «Огче наш» — одном из лучших рассказов советской литературы. Заразительно весел в комедиях «Квадратура круга», «Растратчики», «Домик»... В молодые годы поэт, потом романист, новеллист, комедиограф, фельетонист, очеркист... И во всех решительно жанрах вы узнаете сверкающий катаевский стиль: сжатую, очень точную, деловую по тону речь, блестящую такой роскошью красок, таким изобилием наблюдений, подробностей, еще никем не осознанных и не схваченных и только им впервые описанных, что по изобразительной силе Катаев стоит в ряду с великими мастерами. Разве можно забыть, как под низким солнцем Черное море горит, словно магний. Или как деревья и люди кажутся нарисованными на зимнем тумане, точно на матовом стекле. Или страницу, где тюлька в рыбном ряду на одесском базаре сверкает горами серебряной мелочи. Или ту, где на весенних пасхальных облаках вырисовывается боевой самолет. Можно ли позабыть светлые глаза прелестной девушки Валентины с черною косточкою зрачка; старый парижский дом, по-оперному освещенный одиноким фонарем, бросающим на его дряхлый фасад слабый световой веер, «сине-пороховые тучи», хлопца с наголо остриженной «бледно-голубой головой». Пуделя, оставляющего на зимнем девственно-белом тротуаре трюфовые следы?! Они не забываются — тысячи этих

уподоблений, сравнений, благодаря которым слово Катаева становится осязаемым, зримым, пластичным, цветным...

Совсем недавно Катаев обнарудовал новое сочинение — «Святой колодец». Мастер напряженных и острых сюжетов, авантюрной интриги, эту вещь он пишет непринужденно, без прочных креплений, подвижный ассоциативной связью. Многое наблюденное, перечувствованное, что не находило места в тугих условиях повествования сюжетного, ложится здесь, как на страницы записной книжки, заполняемой подряд в неторопливом движении мысли. Эта новая манера письма несколько не отменяет для других случаев организованного сюжета. Просто каждый раз Катаев пишет по-новому.

«Маленькая железная дверь в стене» — книга, в которой писатель, внимательно прочитавший все воспоминания о Ленине, прочитавший ленинские труды, побывав в местах, где Ленин жил за границей — во Франции и на острове Капри, силой художнического воображения оживляет письма и фотографии, сопоставляет свидетельства современников, следует мыслью за Лениным как биограф-художник, для которого факт не существует отдельно и умозрительно, а связывается в живую целостную картину. «Тема Ленина огромна, необъятна, а эта книга не исторический очерк, не роман, даже не рассказ. Это размышления, страницы путевых тетрадей, воспоминания, точнее всего, лирический дневник, не больше. Но и не меньше», — замечает Катаев в начале этого превосходного сочинения. Превосходного потому, что форма рождена неповторимым удивительным материалом, великою темой, а не подчиняет новый, еще небывалый образ традиционным законам жанров. Катаев создает для него и небывалую форму. Изобразительные средства неисчерпаемы — вот о чем говорит разнообразие приемов Катаева, богатство его стилей, его раскованность. Это — раскованность, которая идет от блестящего мастерства писателя, знающего цену сюжету и одинаково умеющего двигаться и по прямой и вычерчивать сложную линию.

И теперь вот «Трава забвенья» — художественная автобиография, созданная семидесятилетним писателем, — удивительная по своей свободной манере, по «музыкальной» структуре, по умению то замедлять изложение, то слегка торопить его, и возвращаться к началу, и достигать своеобразного «контрапункта», когда параллельно идут две темы... Остро ощущать ритм, делать паузы...

Поражает почти неправдоподобная яркость катаевской памяти...

И все-таки это не мемуары, а образы, подобные тем, какие являет лирическая поэзия. Ибо перед нами возникают давние события и юные пристрастия автора, пропущенные сквозь его зрелый талант, сквозь огромный художественный и жизненный опыт. И так же как луч, преломленный в грани стекла, откидывает радугу, так яркость и праздничность новой книги Катаева идут от преломляющей толщи лет и призм

его хрусталика. И от искусства видеть и вспоминать — вспоминать не все, а выбирая из вороха жизни то, что кажется ему интересным и важным сегодня. И свойства «Травы забвенья» определяет прежде всего этот художественный отбор.

Искусство Катаева в этой столь необычной книге — это искусство нового воспоминания, когда писатель не воспроизводит событие, как запомнил его тогда, а как бы заново видит и заново лепит его и пишет, как прозу, отбирая и добавляя детали, находя сверкающие слова — строит «картину». А это делает «Траву забвенья» явлением не мемуарной литературы, а литературы художественной. Валя Катаев в книге — это тот Валя, каким видит его Валентин Петрович Катаев теперь. Недаром герой временами превращается в Пчелкина, потом снова возвращается в «я» этой повести...

Совмещение великих событий истории и приближенных к глазу деталей образует глубокую перспективу. Катаев выбрал и расставил предметы, чуть сдвинул соотношения, кинул на события животрепещущий свет поэзии, и... искусство рассказывать о жизни стало правдоподобнее жизни. Тут и правда. И вымысел. И поэзия. И мысль о жизни, об искусстве, о «новой оптике» писателя, об умении видеть, вспоминать и описывать, об умении ценить материал литературы — слово, язык; и осмыслять структуру произведения, его тему, сюжет, угол зрения на людей и события, внутренние связи повествования, форму — все это сделало книгу необычайно емкой и содержательной. Она многоядна. Но из множества встреч своих за полвека Катаев выдвинул вперед две фигуры. Это — Бунин и Маяковский. И таких мемуаров тоже еще не бывало: мы следим за движением жизни молодого писателя как бы вокруг двух эпицентров в сложнейших условиях воздействия на каждую из трех этих орбит бурного революционного времени.

Книга сделана с таким виртуозным искусством, что кажется, она и писалась без остановок, с такою же непрерывной певучестью, с какою читается. И в то же время рассказана с увлечением, с отвагой, со счастливым чувством создания еще неизвестного, какое бывает только у молодых.

Иракий АНДРОНИКОВ

...а может быть, это были всего лишь маленькие звукоуловители, напряженно повернутые в мировое пространство к источнику колебаний, недоступных для человеческого уха...

Однажды я уже говорил или даже, кажется, писал, что обнаружил у себя способность перевоплощения не только в самых разных людей, но также в животных, растения, камни, предметы домашнего обихода, даже в абстрактные понятия, как, например, вычитание или что-нибудь подобное.

Я думаю, что это свойство каждого человека.

Во всяком случае все то, что я вижу в данный миг, сейчас же делается мною или я делаюсь им, не говоря уже о том, что сам я — как таковой — непрерывно изменяюсь, населяя окружающую меня среду огромным количеством своих отражений.

По всей вероятности — будучи, как все существующее в мире, грубо матерьяльным, — я так же бесконечен, как материя, из которой состою. Отсюда моя постоянная взаимосвязь со всеми матерьяльными частичками, из которых состоит мир, если, конечно, он матерьялен, в чем я глубоко убежден.

В силу своей постоянной житейской занятости мы давно уже перестали удивляться многообразию форм окружающей нас среды. Но стоит отвлечься хотя бы один день от земных забот, как сейчас же к нам возвращается чувство принадлежности ко вселенной, или, другими словами, чувство вечной свежести и новизны бытия.

Предметы обновляются и получают новый, высший смысл. Например, тот цветок, который в данный момент попал в поле моего зрения. Я обратил на него особенное внимание не случайно. Он давно уже тревожил меня своей формой.

Такими пучками растут, например, грибы опенки. Гнездо длинных трубок, вышедших из одного растительного узла. Сосисочки. Даже обмороженные пальчики. Пучок молоденькой тупоконечной морковки-каротели. Потом они подрастают, меняют цвет. Из оранжевых, шафранных делаются красными. Их концы лопаются и раскрываются венчиком. Но это совсем не общеизвестные выющиеся граммофончики, ничего общего. Их удлиненные тельца — узкие колокольчики — и мягко округлые отверстия, окруженные фестончиками лепестков, светятся каким-то тигрово-абрикосовым цветом, зловеще воспаленным в середине цветка, куда, как загипнотизированные, медленно вползают на казнь насекомые.

Буддийски-красный цвет.

Эти цветы быстро вырастают и так же быстро увядают, съеживаются, сохнут и выпадают из созревшей цветоножки, оставляя после себя длинное полупрозрачное тельце с зеленой тугой каплей завязи.

И вот, вместо того чтобы работать, я наблюдаю за цветами, радуюсь, что они напоминают мне целый ряд предметов, между прочим, те резиновые полупрозрачные соски, которые надевают на горлышко бутылочки с детским молоком, а затем отправляюсь искать садовника, для того чтобы узнать, как называется растение. Все мои чувства сосредоточены на этом праздном вопросе. В самом деле — не все ли мне равно, как оно называется, это чем-то мучительно для меня знакомое растение, чьи полувьющиеся, крепкие стебли поднимаются по столбам над верандой и постоянно как бы сознательно протягивают к самому моему лицу шафранно-красные соцветия, напоминающие мне что-то чрезвычайно для меня дорогое и важное, причем я делаю еще одно наблюдение: в этом соцветии имеются цветки всех возрастов, от совсем маленьких, как недоразвившийся желудь, цветков — ублюдков, уродцев размером с ноготок до бархатисто-бордовых красавцев в полном расцвете — цветов-королей и наконец до цветов-трупов, чьи обесцвеченные пустые чехольчики являют страшный вид коричневого гниения. И все они — вся кисть, все их семейство, живые и мертвые, — расположены строго параллельно перилам террасы, как бы обращенные в одну сторону — к вечно заходящему солнцу, уже коснувшемуся гористого горизонта.

Садовник сказал, что это растение называется «бигнония». Тем лучше.

Высунувшаяся из пыльного горячего куста длинная горизонтальная ветка с перистыми, супротивными листьями протянула мне соцветие, и самый крупный цветок, подобный маскарадному колпачку Пьеретты, остановился перед моими глазами, и тогда я легко и без усилий вспомнил точно такое же знойное июльское утро, башню Ковалевского и открытую веранду с гипсовыми помпейскими вазами, которые тогда воспринимались мною как мраморные, а дача — по меньшей мере древнеримской виллой в духе живописца Семирадского; даже скромная полоса не слишком красивого Черного моря, откуда доносились резкие восклицания купальщиков, представлялась мне пламенным Неаполитанским

заливом с красными парусами. И все это происходило потому, что я должен был увидеть человека, перед талантом которого преклонялся и который представлялся мне существом почти что сказочным.

— Ваня, к тебе! — крикнул толстячок московской скороговоркой.

Мы сразу поняли, что это старший брат Ивана Алексеевича, тоже литератор, пишущий на педагогические темы.

— Кто именно? — послышался голос из-за двери.

— Молодые поэты.

— Сейчас.

И на пороге террасы, пристегивая заграничные подтяжки, появился сам академик Бунин, мельком взглянул на нас и тотчас скрылся, а через минуту снова вышел уже в другом ритме и вполне одетый.

Многие описывали наружность Бунина. По-моему, лучше всего получился у Андрея Белого: профиль кондора, как бы заплаканные глаза, ну и так далее. Более подробно не помню.

Потом я слышал, что глаза у Бунина были прелестно-голубые, но я этого не заметил. Хотя вполне допускаю.

Перед нами предстал сорокалетний господин — сухой, желчный, щеголеватый — с ореолом почетного академика по разряду изящной словесности. Потом уже я понял, что он не столько желчный, сколько геморроидальный, но это не существенно.

Хорошо сшитые штучные брюки. Английские желтые полуботинки на толстой подошве. Вечные. Бородка темно-русая, писательская, но более выхоленная и заостренная, чем у Чехова. Французская. Недаром Чехов называл его в шутку господин Букишон. Пенсне вроде чеховского, стальное, но не на носу, а сложенное вдвое и засунутое в наружный боковой карман полуспортивного жакета — может быть, даже в мелкую клеточку.

Крахмальный воротник — или, как тогда говорилось, воротнички, — высокий и твердый, с уголками, крупно отогнутыми по сторонам корректно-лилового галстука, подобно уголкам визитных карточек из наилучшего бристольского картона. В двадца-

тых годах я бы непременно написал: бристо́льский воротничок. Это у нас тогда называлось переносом эпитета. Кажется, я сам изобрел этот литературный прием и ужасно им злоупотреблял. Нечто вроде инверсии. Так-то, братцы!

Но до двадцатых годов было еще ой как далеко, целая вечность!

Теперь я так писать стесняюсь. Постарел. Остепенился. Пора и о душе подумать, стал мовистом¹.

Бунин взглянул на нас строго-официально и с далекого расстояния протянул нам вытянутые руки — одну мне, другую Вовке Дитрихштейну, — но не для рукопожатия, а для того, чтобы взять наши стихи.

Вовка Дидерикс, или, как он подписывался, Вл. фон Дитрихштейн, был тоже молодой поэт, но гораздо старше меня — богатый студент в штатском: кремовые фланелевые брючки, пестрый пиджачок, твердая соломенная шляпа канотье, толстый золотой перстень с фамильной печатью, белобрысая обезьянья мордочка остзейского немчика с виднеющимися редкими зубами. Типичный последний отпрыск.

Повинуясь неподвижному взгляду Бунина, мы вложили в его протянутые руки свои сочинения: Вовка вложил только что напечатанную за свой счет книжечку декадентских стихотворений — на бумаге верже с водяными знаками и в обложке в две краски — под названием «Блеклый венок», а я общую тетрадь, которую вытащил из-за гимназического пояса с сильно побитой металлической бляхой.

Крепко сжав хваткими пальцами наши сочинения, Бунин велел нам явиться через две недели, корректно поклонился одной головой, давая понять, что аудиенция кончена, и удалился, а его брат Юлий сказал, что Ваня торопится в гости, и проводил нас несколько шагов по каменной террасе до ступенек, которые вели на садовую дорожку, покрытую пыльным скрипучим гравием, подобно всем дорожкам на одесских дачах.

¹ От франц. *mauvais* — плохой.

Ровно через две недели — минута в минуту — мы опять стояли на каменных плитах знакомой террасы, через перила которой к нам тянулись багрово-оранжевые сосисочки — соцветия растения, названия которого я тогда еще не знал и узнал только лет через пятьдесят.

— Ваня, к тебе, — сказал толстячок в дверь.

— Кто? — послышался раздраженный голос.

— Молодые поэты.

— Сейчас.

И на пороге стеклянной двери, как и в первый раз, появился Бунин с протянутыми руками, в которых держал наши сочинения, причем не ошибся: Вовке Дитрихштейну он протянул его книжечку, а мне — мою тетрадь.

— Я прочел ваши стихи, — сказал он строго, как доктор, обращаясь главным образом к Вовке, что несколько меня задело, лишний раз подтвердив мое наблюдение, что если сам я нахожусь среди какой-нибудь, пусть даже самой небольшой, компании, то меня или вовсе не замечают, или замечают в последнюю очередь; таково уж свойство моей личности. — Ну что же? Трудно сказать что-нибудь положительное. Лично мне чужда такого рода поэзия.

Вовка глупо, но заносчиво улыбнулся.

— Вам бы, — продолжал Бунин, — следовало обратиться к какому-нибудь декаденту, например к Бальмонту. А я — что же я могу сказать... Затрудняюсь. Манерно. Кокетливо. Неопределенно, неясно, претенциозно. Наконец, зачастую просто не по-русски...

— Да, но разве вы не признаете в поэзии заумного? — отважно прервал его Вовка, облизывая бесформенные слюнявые губки. — Сейчас это многие признают.

— Быть может. Но я полагаю, раз оно заумное, то, значит, по ту сторону ума, то есть глупость, — сказал Бунин.

Я затрепетал от того, что в моем присутствии родился настоящий литературный афоризм, но не растерялся и сейчас же протянул Бунину его большой коричневый фотографический портрет на сером паспарту, купленный накануне за один рубль

серебром у фотографа, который выставил его для рекламы в витрине своего ателье на Ришельевской улице, в знаменитом одесском пятиэтажном небоскребе, построенном из желтого кирпича в мавританском стиле.

На фотографии — под папиросной бумагой, как невеста под фатой, — было изображение Бунина, который несколько боком сидел в каком-то железном садовом кресле, схватившись сухими руками за подлокотники и вытянув вперед к зрителям ногу, заложенную за ногу так, что заграничные полуботинки оказались на первом плане и вышли неестественно большими со всеми своими подробностями: толстой подошвой, дырочками вокруг союзок, кожаными шнурками, завязанными бантом, в то время как характерная голова академика с выдающимся дворянским затылком вышла несколько менее крупной, чем мне бы хотелось; даже отборный садовый гравий на переднем плане вышел куда более выразительно, чем все остальные аксессуары.

Увидев в витрине эту фотографию, я побежал домой и почти со слезами вымолил у тети рубль, который с меня запросил бездарный, но хитрый фотограф, смекнувший, что имеет дело с молодым поэтом, поклонником столичной знаменитости.

Теперь я извлек из пожелтевшей газетной бумаги портрет и подал его Бунину.

— Вы хотите, чтобы я вам что-нибудь написал на память? — спросил Бунин бесстрастно, но, как это ни странно, я вдруг понял, что в глубине души он польщен и моим смущением, и своим портретом, на который искоса взглянул, по-видимому, тут же отметив про себя весь его провинциализм, начиная от серого паспарту и кончая папиросной бумагой третьего сорта. — Но что же вам написать, вот вопрос?

— Напишите, если можно, то, что вы только что сказали.

— А что я сказал? — удивился Бунин.

— Ну как же... Вы сказали, что заумное, так сказать, это глупость.

— Разве я это сказал?

— Конечно, сказали.

Бунин на минуту задумался, но сейчас же извлек из внутреннего кармана жакета автоматическую ручку — что по тем временам было большой новостью — и отвинтил головку.

— Извольте. Ваше имя?

Я сказал.

Он положил портрет на гипсовую балюстраду и четкой клинописью написал в левом верхнем углу, где было посвободнее от аксессуаров: «Валентину Катаеву. Заумное есть глупость. Ив. Бунин».

Я был в восторге, а Вовка Дитрихштейн кусал свои мокрые губки от зависти, проклиная себя за то, что не догадался купить портрет Бунина.

Больше всего понравилось мне большое прописное «Б» в подписи Бунина, верхняя черта этой буквы вначале необыкновенно толстая, а затем сходящая на нет вроде египетской клинописной литеры или жирного восклицательного знака, поставленного горизонтально, или же даже редьки с тонким хвостиком. Я уже не говорю о том, как было лестно видеть свое имя, написанное рукой знаменитого писателя.

Проводив нас на этот раз до ступеней террасы, Бунин попрощался с нами, пожав наши руки: сначала Вовке, потом мне.

И тут произошло чудо. Первое чудо в моей жизни.

Когда Вовка Дитрихштейн уже начал сходить по ступеням, Бунин слегка попридержал меня за рукав моей гимназической кожаной куртки и произнес негромко, как бы про себя:

— Приходите как-нибудь на днях утром, потолкуем.

Говоря это, он осторожно вытянул у меня из-под мышки тетрадь со стихами и спрятал ее за спину.

Легко можно представить, в каком состоянии я находился в течение тех четырех или пяти дней, которые с невероятным трудом заставил себя пропустить для приличия, чтобы не побегать к Бунину на другой же день.

И вот наконец я мчался в пустом утреннем вагоне электрического трамвая с плетеными из тростника откидными диван-

чиками за город на дачу Ковалевского, и все время с левой руки за обрывами показывалось из пыльной зелени и пропадало море, а справа мелькали дачные пятачки, усыпанные сухой шелухой подсолнуха, с киосками прохладительных напитков, булочными, почтовыми отделениями и даже в одном месте с летним театром, с гипсовой лирой над входом, где давались любительские спектакли, и трамвайный ролик бежал по медному проводу, рассыпая искры, казавшиеся при блеске ослепительного утреннего солнца и такого же ослепительного моря черными, как угольки, а провод в это время пел виолончелью и на крутых поворотах визжали и ныли тормоза, а я стоял на площадке новенького бельгийского вагона, держась за железный столбик, и высовывался в открытую дверь для того, чтобы ветер охладил мою горячую голову с постриженными под машинку волосами.

Наконец тишина, пустой дачный сад, скрип пыльного гравия, степной полынный ветер, каменная веранда и красные соцветия еще не имеющего имени, но уже знакомого вьющегося растения. У входа в цветок, рдеющий на солнце красным цветом петушиного гребня, в воздухе стояла оса.

Однажды, значительно позже, я прочел у Пастернака волшебные строки: «...голоса приближаются: Скрябин. О, куда мне бежать от шагов моего божества!»

И под его все теми же заграничными полуботинками зазвучали каменные потертые плиты веранды. На нем была свежевыглаженная холщовая блуза с нагрудным кармашком, оседланным стальным пенсне с черным шнурком.

Но, вероятно, в мире уже что-то произошло или в это время происходило — роковое и непоправимое, — потому что хотя стояло все то же горячее приморское утро, но дача уже не показалась мне римской виллой и над кубовой полосой беспокойного Черного моря я не увидел красных парусов Неаполитанского залива, а комната, куда меня пригласил хозяин, была проста, как дворницкая, — с белеными стенами, ярким полом, выкрашенным

масляной краской, в янтарно-охряных досках которого лазурно отражалось небольшое окно, с кухонным столом, аккуратно застланным листом алой промокательной бумаги, надежно прижатой к столу кнопками, на котором я заметил четвертушку почтовой бумаги с начатыми строчками, а на раскаленном сияющем подоконнике на четвертушке такой же почтовой бумаги сохла горка влажного турецкого табака, и рядом с ней я увидел коробку с воздушно-крахмальными гильзами фабрики Конельского, стальную машинку для набивания, сверкающую на солнце своими медными застежками, и стальную палочку с круглой, некрашеного дерева рукояткой, приготовленные для набивки новой папиросы, в то время как в воздухе еще стоял синеватый дымок только что выкуренной, а сам Бунин уже не казался мне таким строгим и в его бороде было больше чеховского, чем в прошлый раз. Мы сели на два буковых венских стула, гнутых, легких и звонких, как музыкальные инструменты, и он положил на стол мою клеенчатую тетрадь, разгладил ее сухой ладонью и сказал:

— Ну-с.

...но как же все это случилось? Что между нами общего? Почему я его так страстно люблю? Ведь совсем недавно я даже не слышал его имени. Хорошо знал имена Куприна, Андреева, Горького, слышал, что есть Арцыбашев, Юшкевич, Чириков — тот самый, о котором будто бы злой старик Лев Толстой сказал: «Как его... Цуриков, Чуриков...» А о Бунине совершенно ничего не слышал. И вдруг в один прекрасный день, совершенно неожиданно, он стал для меня божеством.

Давайте разберемся.

Я уже давно писал стихи и находился, как все молодые поэты, в состоянии вечного душевного смятения: бегал по редакциям местных газет без всякого разбора, читал свои стихи кому попало в гимназии, на переменах, спрашивал мнение товарищей, домашних, папы, тети, мучил своими произведениями младшего братишку Женю — будущего Евгения Петрова, — посылал свои стихотворения бабушке в Екатеринослав, даже прослыл у знако-

мых гимназисток слегка сумасшедшим. И все это лишь потому, что никто не мог мне объяснить какой-то — как я тогда думал — самый главный секрет, открыть какую-то самую сокровенную тайну поэзии, не обладая которой можно было и впрямь свихнуться, не понимая, для чего все это пишется, что означают все эти давным-давно, еще со времен Ломоносова, известные рифмы, размеры, строфы — тысячу раз уже писанные кем-то раньше, тысячу раз читанные-перечитанные и по сути дела, по внутреннему ощущению, ничего общего не имеющие лично со мной, с моей жизнью, с моей судьбой, с моими интересами, — какие-то бледные «холодом дышит природа немая, бешено волны седые кипят» и прочее.

...Звездочки между четверостишиями...

Подобное же чувство, по-видимому, испытал в свое время и Маяковский, о котором я тоже собираюсь кое-что рассказать в этой книге. В своей биографии он пишет:

«...Вышло ходульно и ревлаксиво. Что-то вроде:

В золото, в пурпур леса одевались, солнце играло на главах церковей. Ждал я: но в месяцах дни потерялись, сотни томительных дней.

Исписал таким целую тетрадку»...

Никто мне ничего не смог сказать, и ничего я не слышал, кроме того, что — «вообразите себе, Валя пишет стихи, хотя, впрочем, в его возрасте все пишут».

В редакциях:

— Стихи? Отлично. Оставьте. Приходите через две недели. Рукописи не возвращаем.

Через две недели:

— Не пойдет.

— Почему?

— Потому что мы буквально завалены стихами, а мы их вообще-то не печатаем.

Или вдруг неожиданное счастье.

— Одно взяли.

— Какое?

— Я уже не помню. Там что-то про природу. Восемь строк. На подверстку.

И лишь один раз в редакции «Одесских новостей», заваленный узкими гранками, испятнанными черными оттисками пальцев, известный журналист Герцо-Виноградский, который под псевдонимом Лознгрин вел ежедневный фельетон, короткими, рублеными строчками, односложными абзацами, а ля король фельетонистов великий Влас Дорошевич, человек с худым интеллигентным лицом и длинными усами Верхарна, мельком взглянув на меня сквозь все то же стальное чеховское пенсне, — вдруг чем-то во мне заинтересовался — трудно сказать, чем именно, — может быть, просто по-человечески пожалел, потому что я так неестественно кашлял от смущения, имитируя «слабые легкие», так нервно ломал лаковый козырек своей гимназической фуражки, прожженный в нескольких местах увеличительным стеклом, так стеснялся своих вулканических, так называемых «возрастных» прыщей на худом китайском подбородке... Он ласково отстранил доброй рукой мои свернутые в трубку стихи и сказал с простотой и откровенностью, потрясшей меня:

— Слушайте, ну, допустим, я попрошу вас зайти через неделю и потом скажу, что стихи не подходят потому, что мы вообще-то стихов не печатаем, хотя мы их изредка и печатаем, и потому, что стихи сырые, хотя они действительно, может быть, сырые. Но какое это имеет значение? Хотите знать святую правду? Вы принесли мне стихи, а я — вот даю вам честное слово порядочного человека — ну совершенно, абсолютно ничего не смыслю в стихах и поэтому ничего вам не могу посоветовать путного. И никто у нас в газете ровно ни черта в поэзии не понимает. Можете мне поверить. Только делают вид, что понимают. Так что я вам посоветую: дайте свои стихи прочесть настоящему писателю. Понимаете: н а с т о я щ е м у.

Он подчеркнул это слово и уставился на меня добрыми склеротическими глазами.

— У нас в Одессе, — сказал он, — живет один настоящий

писатель. Юшкевича я не считаю. Александр Митрофанович Федоров. Вы, наверное, о нем слышали?

— Не слышал.

— Чехову нравилось его стихотворение: «Шарманка за окном на улице поет, мое окно открыто, вечереет». — Он снял пенсне и вытер платком слезы. — Вот видите. А еще хотите быть писателем. Надо знать! А. Федоров. О нем даже есть в энциклопедическом словаре.

Мне было ужасно неловко за свое невежество, и я виновато молчал, терзая в опущенных руках свою фуражку и выламывая веточки герба. Но тут меня осенило: А. Федоров! Не папа ли это реалиста Витьки Федорова, с которым мы одно время жили рядом в «Отраде» и даже немного дружили? Помнится, Витька хвастался, что у него батька писатель.

— Он не в «Отраде» живет? — спросил я.

— Жил в «Отраде», а теперь выстроил собственную дачу рядом с башней Ковалевского.

— Я товарищ его сына Витьки.

— Верно, у него есть сын Витя. Так вы, я вам серьезно советую, не откладывая и поезжайте. Он хороший поэт, ученик Майкова, — прибавил он таинственным шепотом. — Он может дать вам ряд полезных советов. Это единственное разумное, что вы можете сделать. У вас что — легкие не в порядке?

— В порядке. Это я так. У вас здесь в редакции очень жарко.

— С богом.

Так как на даче не было ни души, я беспрепятственно прошел через все комнаты и остановился в дверях кабинета, где за письменным столом сидел, как я сразу понял, сам А. М. Федоров на фоне громадного, во всю стену, венецианского окна с дорогими шпингалетами, на треть занятого морем, большефонтанским берегом и маяком, а на две трети движущимся громадным облачным небом ранней весны — еще холодной и хмурой, со штормами и неправдоподобно крупными почками конского каштана, как бы густо обмазанными столярным клеем.

А. М. Федоров задумчиво, с паузами, заносил что-то в объемистую записную книжку. Наверное, пишет стихи, подумал я и вступил в комнату, с ужасом слыша скрип своих новых ботинок.

— Здравствуйте,— сказал я, прокашлявшись.

Он нервно вздрогнул всем телом и вскинул свою небольшую красивую голову с точеным, слегка горбатым носом и совсем маленькой серебристой бородкой: настоящий европейский писатель, красавец, человек из какого-то другого, высшего мира; с такими людьми я еще никогда не встречался, сразу видно: утонченный, изысканно-простой, до кончиков ногтей интеллигентный, о чем свидетельствовали домашний батистовый галстук бантом, вельветовая рабочая куртка, янтарный мундштук, придавая ему нечто в высшей степени художественное.

— Здравствуйте,— еще раз сказал я, шаркая ногой.

Он схватился кончиками пальцев за седеющие виски. В его глазах мелькнуло безумие.

— Ах, как вы меня испугали! Нельзя же так. Я думал бог знает что... Пожар... Что вам угодно?

— Я товарищ Вити.

— Витя в училище,— с недоумением сказал он.— А почему вы не в гимназии? Или, может быть, с Витей что-нибудь случилось? — закричал он, вскакивая.— Ради бога, говорите, что с ним случилось!

— Ничего не случилось.

— Он жив?

— Наверное. А чего?

— Это я вас должен спросить: а чего? И почему вы не в гимназии?

— Так.

— Странно.

— Я не к Витьке пришел, а к вам.

— Ко мне? — удивился Федоров.

Но прежде чем я успел вытащить из кармана шинели свои рукописи, он все понял и заметался, как подстреленный.

— Стихи? Нет, нет! Только, умоляю вас, не теперь. Вы же

видите — я занят. В эти часы я никого не принимаю. Как вы сюда попали?

Он отпрянул от меня и смотрел с ужасом на мои рукописи, которые я уже начал торопливо перелистывать. Мы были во всем доме одни. Его положение было безвыходным.

— Лида! — крикнул он слабым голосом, но, вспомнив, что жена уехала в город за покупками, махнул рукой и сдался.

Обливаясь потом и все время кашляя, я прочитал ему свои стихи. Он сделал томным, красивым голосом избалованного женщинами известного писателя несколько вялых замечаний, а потом разошелся, и когда я спрятал свою рукопись, он, несколько юмористически сверкнув глазами, погладив кисточку своей серебряной бородки, сказал сладостно-кондитерским голосом:

— Ну уж, так и быть. Теперь моя очередь. Держитесь, Валя. Сейчас я вас убью. — С этими словами он вынул из письменного стола толстую сафьяновую тетрадь и один за другим стал с упоением читать сонеты, написанные, как он объяснил, вчера во время бессонницы в один присест, залпом: — «Седые пейсы. Острый взгляд. Шейлок. Неровными зубами, торопливо он развязал заветный узелок. Тайлось в нем сокровище на диво: жемчужина Персидского залива. Из мрака он на свет ее извлек и сам, гордясь, любитесь ревниво...» — и так далее и шикарный конец: «...она живет и дышит, и — о боже! — я слышу вздох: зачем меня хавас достал со дна для этих жадных глаз!»

Разумеется, я был убит наповал. Вот это настоящий поэт! И с этого дня стал страшным почитателем и учеником Федорова, который вскоре привык ко мне и не без томности говорил знакомым:

— Это Валя. Молодой поэт. Мой талантливый ученик. Мы читаем друг другу стихи.

Эта идиллия продолжалась довольно долго, но закончилась как-то вдруг, когда в один прекрасный день расчувствовавшийся Федоров томно сказал:

— Ах, Валя... Все это, откровенно говоря, вздор. Хотя мой

учитель Майков и считал меня самым талантливым своим учеником и предсказывал мне блестящую будущность,— при этом Федоров посмотрел на фотографию старика с черно-серебряной бородой, в строгих железных очках — поэта Майкова — с автографом,— но, по совести, какие мы с вами поэты? Бунин — вот кто настоящий поэт. Вы читали Бунина?

— Нет.

— Вы не знаете стихов Бунина? — ужаснулся Федоров.— И ничего о нем не слышали?

— Смутно,— соврал я.— В каком-то журнале. Длинно и скучно. Даже, кажется, без рифм. Впрочем, кажется, это был не Бунин.

Федоров с молчаливым укором посмотрел на меня, подошел к громадному, во всю стену, книжному шкафу, вытянул с полки книгу и стал ее перелистывать.

Мелькнула дарственная надпись с большой — прописной — клинописной буквой «Б».

— «Все море — как жемчужное зеркало,— читал Федоров, держа в руках открытую книгу, но не глядя в нее; читал своим красивым, несколько актерским тенорком, дрожащим от неподдельного восхищения.— Сирень с отливом млечно-золотым. И как тепло перед закатом стало, и как душист над саклей тонкий дым! Вон чайка села в бухточке скалистой...— Тут Федоров, повернув свою небольшую скульптурную голову, посмотрел в окно, в черноморскую даль, слегка прищурившись, с таким вниманием, словно и впрямь видел кавказское побережье с саклей, эту самую скалистую бухточку и чайку, сидевшую в ней.— Вон чайка села в бухточке скалистой, как поплавок... Взлетает иногда — и видно, как струею серебристой сбегает с лапок розовых вода».

Я был поражен. Передо мной вдруг открылась совсем простая тайна поэзии, которая до сих пор так упорно ускользала от меня, приводя в отчаяние.

Я уже давно — хотя и смутно — понимал, что уметь составлять стихи еще не значит быть поэтом. Легкость версификации уже перестала обманывать меня. Внешний вид стихотворения, так отличавшийся от прозы, со своими отдельными четверостишиями, особым щегольством типографской верстки, с тремя звездочками, многоточиями и другими общеизвестными ухищрениями хотя и продолжали оказывать на меня гипнотическое действие, но временами уже начинали раздражать. У меня даже зародилась глупейшая мысль, что можно в маленькую ученическую тетрадку «для слов» записать попарно все существующие рифмы, затем вызубрить, как таблицу умножения, все существующие стихотворные размеры — ямбы, хорей, амфибрахий, — что, в общем, не составляло большого труда, — и дело в шляпе! Что же касается самого содержания, то оно общеизвестно и вполне доступно: мечты, грезы, печаль, тоска, любовь, сад, луна, река, свиданье, страсть, цветы, осень, весна, зима, реже лето, поцелуй, ночь, утро, вечер, реже полдень, измена, горькая судьбина... Мало ли чего! Разумеется, в большом количестве море, волны, заливы, бури, чайки, — но все это в о о б щ е. Даже очень может быть бухта. Но бухта вообще. Не подлинная, а книжная. Не вызывающая никаких особенно ясных представлений.

Но тут была, во-первых, не бухта, а бухточка и, во-вторых, не вообще бухточка, а скалистая, то есть такая, какую я много раз видел где-нибудь в Аркадии или на Малом Фонтане и любовался ею, никак не предполагая, что именно она и есть предмет поэзии. Чайка была тоже не абстрактная чайка книжных виньеток и концовок, а вполне реальная черноморская чайка — подруга большефонтанского маяка, — в данном случае севшая в скалистой бухточке, как поплавок, — сравнение, буквально сразившее меня своей простотой и почти научной точностью: уж я ли не знал, как плавает в морской воде двухцветный, наполовину красный и наполовину синий, пробковый поплавок — такой легкий, устойчиво покачивающийся на прибрежной волне, с торчащим кончиком гусиного пера.

Бунин открыл мне глаза на физическое явление поплавок, имеющего — по-видимому! — такой же удельный вес, как и чайка со своими полыми костями и плотным, но чрезвычайно легким, просаленным, непромокаемым опереньем, как бы пропитанным воздухом.

Вода, серебристой струею сбегающая с розовых, тоже непромокаемых лапок, была так достоверна, — теперь бы я сказал: стереоскопична, — словно я издали смотрел на нее в хороший морской бинокль, увеличивающий раз в пятнадцать.

Я увидел чудо подлинной поэзии: передо мной открылся новый мир. В тот же вечер я попросил папу купить мне книгу стихотворений Бунина. Отец посмотрел на меня сквозь пенсне глазами, на которые — по-моему — навернулись слезы умиления: наконец его оболтус взялся за ум. Он просит купить ему не коньки, не футбольный мяч, не духовой пистолет, не теннисную ракетку, а книгу. И не «Шерлока Холмса» Конан-Дойля, не «Тайну желтой комнаты» Гастона Леру, а прекрасную книгу русского поэта. Быть может, это был единственный подлинно счастливый день в его жизни. Отцы это поймут. А дети тоже поймут. Но не теперь, а со временем.

На другой день, вернувшись домой с уроков, отец вручил мне в передней завернутый в прекрасную, тонкую, плотную оберточную бумагу, от которой пахло газовым освещением писчебумажного магазина «Образование», пахло глобусами, географическими картами, литографиями, — толстенький сборник стихотворений Ив. Бунина издательства «Знание» 1906 года в скучно-зеленоватой шагреновой бумажной обложке, в которой чувствовалось что-то неуловимо социал-демократическое.

Теперь же я сидел перед живым Иваном Буниным, следя за его рукой, которая медленно перелистывала страницы моей общей тетрадки. На потертых углах этих страниц, выкрашенных по ребру красной краской, был нарисован во множестве один и тот же условный человечек в разных позах, так что стоило нажать большим пальцем угол тетради и быстро пустить веером уголки страниц, как в их мелькании возникала движу-

щаяся картинка размахивающего руками человечка — нечто вроде теперешней мультипликации: нарисованный человечек в течение нескольких секунд — в зависимости от толщины тетради — поднимал руки и дрыгал ногами.

На углах самого толстого из всех гимназических учебников — «Природоведения» — некоторые терпеливые гимназисты умудрялись даже изображать бокс или смертельный прыжок с шеста в воду легендарного циркового артиста Дацарила.

Не обращая внимания на человечка, Бунин перелистывал мою тетрадь — всю изрезанную по клеенке черного переплета якорями, сердцами и стрелами. Он останавливался на некоторых стихотворениях, несколько раз про себя перечитывая их, иногда делал короткие замечания по поводу какой-нибудь неточности или неграмотности, но все это — коротко, не обидно, деловито. Когда он не разбирал моего почерка, то надевал пенсне и спрашивал:

— Какое это слово?

И никак нельзя было понять, нравятся ему стихи или не нравятся.

Через много лет после этого я слышал, как Станиславский сказал на репетиции «Растратчиков» одному актеру:

— Можете играть хорошо. Можете играть плохо. Играйте, как вам угодно. Меня это не интересует. Мне важно, чтобы вы играли верно.

Думаю, тогда Бунин искал в моих стихах — где верно. Остальное ему было безразлично.

Дойдя до одного стихотворения, где я описывал осень на даче (ну уж, разумеется, на даче А. М. Федорова), Бунин не торопясь прочитал его вполголоса и остановился на последней строфе, где мною в поэтической форме была выражена та мысль, что поэт, он же и живописец (дело в том, что Федоров занимался также и живописью), написав натюрморт — глина-

ный кувшин с астрами,— как бы спас эти последние цветы от смерти, дал им на своем полотне вечную жизнь — или что-нибудь в этом роде.

«А в кувшине осенние цветы, их спас поэт от раннего ненастья, и вот они — остатки красоты — живут в мечтах утраченного счастья».

Бунин поморщился, как от зубной боли.

— Вы, собственно, что здесь имели в виду? — спросил он. — По всей вероятности, мастерскую Митрофановича на втором этаже, где он пишет свои натюрморты? Не так ли? В таком случае лучше было бы написать так.

Бунин перечеркнул последнюю строфу карандашом, а на полях написал: «А на столе осенние цветы. Их спас поэт в саду от ранней смерти».

Он немного подумал и затем решительно закончил: «Этюдники. Помятые холсты. И чья-то шляпа на мольберте».

Я был поражен точностью, краткостью, вещественностью, с которой Бунин, как бы тремя ударами кисти, среди моих слепых общих строчек вдруг изобразил мастерскую своего друга Федорова, выбрав самые что ни на есть необходимые подробности: этюдники, холсты. Шляпа. Мольберт.

Какой скупой словарь!

С поразительной ясностью я увидел тяжелый, грубо сколоченный, запачканный красками мольберт и на нем небрежно повешенную бархатную шляпу с артистически заломленными полями, по-тирольски — вверх и вниз, — что удивительно верно передавало весь характер Федорова с его изящным дилетантизмом и невинными покушениями на богемистость.

Почему-то мне потом часто представлялось, что именно такую бархатную, оливкового цвета шляпу с полями, загнутыми по-тирольски, непременно носил известный в свое время критик и эстетик Юлий Айхенвальд. А может быть, и Корней Чуковский.

Правда, меня немного смутили «помятые холсты». У художников редко бывают помятые холсты: они или натянуты на

подрамник, или стоят в углу, свернутые в толстые трубы. Попробуйте-ка их смять! И до сих пор меня мучают эти помятые холсты, показывающие, что даже у самых лучших поэтов иногда попадаются проходные эпитеты, хотя на первый взгляд и точные, но в самой своей глубине неверные, поставленные по принципу — авось проскочит.

У меня не проскочило, потому что я никак не мог увидеть помятые холсты, а видел их свернутые в трубы, тяжелые, промасленные.

Но это между прочим.

Из других стихотворений Бунин скользь остановился на одном, где я описывал свидание со знакомой гимназисткой на закате осенью на сельском кладбище, что вполне соответствовало действительности и недавно происходило в селе Усатовы Хутора под Одессой, где я гостил у товарища.

Я следил за глазами Бунина, скользившими по моим строчкам: «Пришли, задумались, на камень тихо сели. Мечтательно звенел хрустальный хор сверчков. Качались по ветру сухие иммортели среди надгробных плит и каменных крестов» — и так далее. «И грустно стало мне и как-то одиноко. Но лишь на миг. Ведь ты была со мной. А в синеве небес уже стоял высоко двурогий месяц ледяной».

Бунин несколько задержался на этом стихотворении, как бы вместе со мною переживая сиденье на холодной ракушниковой плите сельского кладбища при свете ледяного месяца, се-ребрившего вокруг нас слюдяные цветы иммортелей, а затем наверху страницы поставил моим обгрызенным карандашом птичку, по-видимому, означавшую, что стихи ничего себе, во всяком случае — «верные».

Таких стихотворений, отмеченных птичкой, на всю тетрадку оказалось всего два, и я приуныл, считая, что навсегда провалился в глазах Бунина и хорошего поэта из меня не выйдет, тем более что на прощание он не сказал мне ничего обнадеживающего. Так, обычные замечания равнодушного человека: «Ничего». «Пишите». «Наблюдайте природу». «Поэзия — это ежедневный труд».

Мысль о ежедневном труде Бунин несколько развил.

— Писать стихи надо каждый день, подобно тому, как скрипач или пианист непременно должен каждый день без пропусков по несколько часов играть на своем инструменте. В противном случае ваш талант неизбежно оскудеет, высохнет, подобно колодцу, откуда долгое время не берут воду. А о чем писать? О чем угодно. Если у вас в данное время нет никакой темы, идеи, то пишите просто обо всем, что увидите. Бежит собака с высунутым языком, — сказал он, посмотрев в окно, — опишите собаку. Одно, два четырехстишия. Но точно, достоверно, чтобы собака была именно эта, а не какая-нибудь другая. Опишите дерево. Море. Скамейку. Найдите для них единственно верное определение. Опишите звук гравия под сандалиями девочки, бегущей к морю с полотенцем на плече и плавательными пузырями в руках. Что это за звук? Скрип не скрип. Звон не звон. Шорох не шорох. Что-то другое — галечное, — требующее единственного необходимого, верного слова. Например, опишите полувьющийся куст этих красных цветов, которые тянутся через балюстраду, хотят заглянуть в комнату, посмотреть через стеклянную дверь, что мы тут с вами делаем. Очень типичное растение для большефонтанской дачи, для июля месяца, для знойного полудня, когда в саду пусто, потому что все ушли купаться и с берега долетают резкие восклицания и визг купальщиц.

Я был весь, без остатка, поглощен рассматриванием спелого красного цветка, тронутого первыми признаками разложения. Пожелтевшие зубчики преградили путь осы в темно-красную середину агонизирующего цветка, где как бы горел угрюмый огонь войны, грядущей революции, приближение которых было еще вне моего сознания. Другой цветок уже был мертв, и по его мертвой плоти ползали маленькие рыжие муравьи, поднимающиеся цепочкой по гипсовой балюсине балюстрады.

Я снова вижу этих маленьких хрупких муравьев, и они мне кажутся теми же самыми. А может быть, они и есть те же са-

мые — вечные, бессмысленные, такие хрупкие и недолговечные муравьи, инстинктивно ищущие в громадном непознаваемом мире тело разлагающегося цветка. Но как он называется? Теперь-то я знаю. Но тогда я еще не знал.

Я заметил, что человека втрое больше мучает вид предмета, если он не знает его названия. Давать имя окружающим вещам — быть может, это одно и отличает человека от другого существа. Но у меня нет такого запаса слов, чтобы назвать миллионы существ, понятий, вещей, окружающих меня. Это мучит. Но еще большее мучение, вероятно, испытывает вещь, лишенная имени: ее существование неполноценно. Сонмы неназванных предметов терзаются вокруг меня и в свою очередь терзают меня самого страшным сознанием того, что я не бог. Не имеющие имен вещи и понятия стоят в стеклянных шкафах вечности, как новенькие, золоченые фигуры еще не воплотившихся будд в темных приделах храма среди каменных, раскаленных дворов под выгоревшим небом Монголии, которое как бы дышит жертвенным дымом сожженных степных растений, сонным ароматом желтого мака, шалфея, полыни, тысячелетней черепицы китайских крыш дворца Богдо-Гэгэна с колокольчиками.

Будды похожи друг на друга и лишены индивидуальности, их позолота свежа, их длинные улыбки не выражают никакой идеи; они ждут своего воплощения, а это может произойти лишь тогда, когда в мире появится какое-нибудь совершенно новое понятие, требующее пластического выражения.

Тогда бритоголовые ламы, похожие на римских сенаторов в красных туниках и канареечно-желтых тогах — но не в сандалиях, а в монгольских сапогах, — вынимают из стенного шкафа одного из безымянных будд, дают ему имя и переносят в храм, где среди дыма тлеющих палочек, возгласов, вертящихся молитвенных барабанов, красивых шоколадных конфет и крепдешиновых ритуальных платков он становится наконец богом.

...Красный буддийский цвет, золотой джаз жертвоприношений.

— Наконец опишите воробья, — сказал Бунин, — я знаю: вы пришли в отчаяние от того, что все уже сказано, все стихи написаны до вас, новых тем и новых чувств нет, все рифмы давно использованы и затрепаны; размеры можно перечесать по пальцам; так что в конечном итоге сделаться поэтом невозможно. В юности у меня тоже были подобные мысли, доводившие меня до сумасшествия. Но это, милостивый государь, вздор. Каждый предмет из тех, какие окружают вас, каждое ваше чувство есть тема для стихотворения. Прислушивайтесь к своим чувствам, наблюдайте окружающий вас мир и пишите. Но пишите так, как вы чувствуете, и так, как вы видите, а не так, как до вас чувствовали и видели другие поэты, пусть даже самые гениальные. Будьте в искусстве независимы. Этому можно научиться. И тогда перед вами откроется неисчерпаемый мир подлинной поэзии. Вам станет легче дышать.

Но я уже и без того дышал легко, жадно, новыми глазами рассматривая все, что меня окружало.

...Тщательно описав воробья, я стал описывать девочку. Но она была не птица и не цветок. Для ее изображения было мало написать, что ей тринадцать лет, что у нее короткая юбочка, очевидно, перешитая из каких-то домашних лохмотьев, дочерна загоревшие худые ноги, до колен покрытые перловой крупой еще не успевшего высохнуть морского песка, голландка с сильно вылинявшим синим воротником, открывавшим острые ключицы, и коротко остриженная иссиня-черная кудрявая — я бы сказал, греческая — головка, которую с первого же взгляда хотелось сравнить с ежевикой.

Проходя мимо гипсовых ваз балюстрады, она посмотрела на меня, и я увидел худое, темно-оливковое лицо с узкими глазами, в которых как бы таинственно блестела лунная ночь.

Она презрительно поджала сизые от купания губы, передернула плечами и скрылась из виду, униженная своей явной бед-

ностью, даже нищетой и вместе с тем злая, независимо гордая, как маленькая голодная царица.

Это уже была не превосходно найденная деталь летнего приморского полудня, повод для словесной живописи, урок поэзии.

Всей душой я вдруг почувствовал в ней не просто девочку, а трагическую героиню какого-то подлинного, а не выдуманного назревающего, будущего романа...

...чудо мгновенного превращения пейзажа в эпос, в трагедию.

Я знал, что мы еще когда-нибудь с ней встретимся.

Несколько дней потом бегал я по знакомым, рассказывая о своем визите к Бунину; почти ни на кого мой рассказ не произвел сколько-нибудь заметного впечатления. Повторяю: мой Бунин был малоизвестен. Только мои товарищи — молодые поэты, к числу которых я уже в то время как бы официально принадлежал, — заинтересовались моим рассказом. Правда, большинство из них совсем не признавало Бунина как поэта, что приводило меня в отчаяние и даже какую-то детскую ярость. Но зато все трепетали перед ним как перед почетным академиком и, узнав, что Бунин, известный своей беспощадной строгостью, из пятнадцати моих стихотворений два удостоил поощрительной птички, сначала не хотели этому верить, а потом, уверившись, да, кроме того, собственными глазами увидев присочиненную Буниным шляпу на мольберте, прониклись ко мне некоторым интересом, хотя и откровенно пожимали плечами. Они меня тоже не признавали. Вообще в то время никто никого не признавал. Это было признаком хорошего литературного тона.

Как и теперь, впрочем.

Я стал в некотором роде знаменитостью, а мою тетрадку с бунинскими строчками до того захватили пальцами, что я принужден был показывать ее издали, не давая в руки.

У меня кружилась голова от славы. Я упивался начавшейся для меня новой счастливой жизнью, сулившей впереди столько прекрасного! Я без устали сочинял стихи, описывая все, что

меня окружало. Я понял, что поэзия была вовсе не то, что считалось поэзией, а чаще всего была именно то, что никак не считалось поэзией. Мне не надо было ее разыскивать, откуда-то выковыривать. Она была тут, рядом, вся на виду, она сразу попадала в руку — стоило лишь внутренне ощутить ее поэзией. И это внутреннее ощущение жизни как поэзии теперь безраздельно владело мною.

Лишь потому, что я вдруг узнал, понял всей душой: вечное присутствие поэзии — в самых простых вещах, мимо которых я проходил раньше, не подозревая, что они в любой миг могут превратиться в произведение искусства, стоит только внимательно в них всмотреться.

Сколько раз до сих пор я видел обыкновенного уличного шарманщика, но только теперь, взглянув на него глазами Бунина, понял, что и шарманщик поэзия, и его обезьянка поэзия, и дорога от Одессы на Фонтан тоже поэзия. «Ограды дач еще в живом узоре — в тени акаций. Солнце из-за дач глядит в листву. В аллеях блещет море... День будет долог, светел и горяч. И будет сонно, сонно. Черепицы стеклом светиться будут. Промелькнет велосипед бесшумным махом птицы, да прогремит в немецкой фуре лед».

Оказывается, все это чистейшая поэзия, но, конечно, лишь в том случае, если удастся открыть самую душу вещи или явления: например, душу велосипеда, который «промелькнет бесшумным махом птицы». Этот бесшумный мах, в котором все же присутствовал шорох шин, буквально сводил меня с ума своей дьявольской точностью, а главное, тем, что в нем скрывалось как бы еще одно слово, не написанное, но подразумевающееся, — «спицы» — с их никелевым блеском и маленькими молниями солнечных отражений.

Перечел написанное и нахожу, что хотя в нем все как будто верно, да не совсем. Слишком упрощенно получаюсь я — молодой человек того времени. А ведь именно об этом времени

впоследствии Александр Блок написал в предисловии к «Возмездию»:

«Интересно и бесполезно и для себя и для других припомнить историю собственного произведения. К тому же нам, счастливейшим или несчастливейшим детям своего века, приходится помнить всю свою жизнь; все годы наши резко окрашены для нас, и — увы! — забыть их нельзя, — они окрашены слишком неизгладимо, так, что каждая цифра кажется написанной кровью; мы не можем забыть этих цифр; они написаны на наших собственных лицах».

Книга, которую я сейчас пишу, есть в какой-то мере «история собственного произведения» — точнее, одного из моих произведений, романа «Ангел смерти», который я мечтал написать всю свою жизнь, но так и не написал. И он навсегда остался лишь моей мечтой.

Книга мечты.

Я младший современник Блока, что не могло помешать мне ощущать время так же, как ощущал его Блок.

«...1910 год, — писал Блок, — это кризис символизма, о котором тогда очень много писали и говорили как в лагере символистов, так и в противоположном. В этом году явственно дали о себе знать направления, которые встали во враждебную позицию и к символизму и друг к другу: акмеизм, эгофутуризм и первые начатки футуризма».

Тем, чем для Блока был 1910 год, тем для нас, молодых провинциалов, были 1913 и 1914 годы, когда наконец и до Одессы дошли эти самые «первые начатки футуризма»: странные книжки, напечатанные на толстой, чуть ли не оберточной бумаге со щепочками, непривычным шрифтом, со странными названиями «Пощечина общественному вкусу», «Дохлая луна», даже «Засахаренная кры...», непонятными стихами и чудовищными фамилиями поэтов-футуристов, как будто нарочно придуманными для того, чтобы дразнить читателей.

Мы прятали эти сборники под партами вместе с крамольным «Сатириконом» и неприличными похождениями какой-то Эльзы Гавронской, в которых все было абсолютно прилично, даже тошнотворно-скучно, но все равно — гимназическое начальство считало, что это порнография.

Среди совершенно не понятных для меня стихов, напечатанных вкривь и вкось, даже, кажется, кое-где вверх ногами, которые воспринимались как дерзкая мистификация или даже какой-то страшный протест: «Дыр бул щыл — убежур», мне попался на глаза футуристический сборник «Садок судей» — твердая квадратная книжка в обложке из цветных обоев, напечатанная на толстой синей бумаге, почти картоне, где я нашел строчки: «В ушах оглохших пароходов горели серьги якорей».

И вдруг я, воспитанный на классиках, уже слегка прикусившийся к волшебному реализму Бунина, прочитав эти футуристические строчки, увидел поразительно яркое изображение порта и услышал так хорошо мне знакомый пароходный гудок столь низкого, басового тона и столь пронзительно свистящей силы, что едва он начинал гудеть, как из брандспойта, выпуская струю прозрачно-раскаленного пара, которая лишь через некоторое время превращалась над головой в плотное облако, морозящее теплым дождем на головы и лица пассажиров, которые в ужасе затыкали пальцами уши и разевали рты для того, чтобы спасти свои барабанные перепонки, как в мире воцарялась тишина. Поэтому пароходный гудок всегда ассоциировался с внезапно наступившим на рейде безмолвием, с всеобщей подавляющей глухотой.

Я понял, что оглохшие пароходы были вовсе не футуристическим изыском, а поразительно верным реалистическим изображением, инверсией — по тому времени совершенно новым приемом, поэтическим открытием, заключавшимся в том, что ощущение глухоты переносилось с человека на вещь. Пароходы превращались в живые существа, в железных женщин с серьгами якорей в оглохших ушах.

Что же касается любви и похоти (в последующей редакции), которые они со страшным воем лили из своих якобы медных

труб, то это было совершенно гениальное наблюдение поэта, проникшего в самые глубины подсознательного: пароходный гудок ревел, и впрямь вызывая нечто похожее на половое чувство, от которого как бы содрогался рейд со всеми своими таможенными катерами, буксирами, баржами, тузиками, флагами, белым маяком, чье отражение рвалось на мелкие клочки, как разорванное письмо в голубом зеркале акватория, как бы разорванными в клочья чайками, предчувствием знойной приморской ночи.

Я даже не запомнил фамилии футуриста, написавшего эти строчки, но картина порта, созданная его могучим воображением, навсегда врезалась в память где-то рядом с поплавком бунинской чайки.

В ожидании нового свидания с Буниным я в сотый раз перебирал подробности того незабвенного дня, когда он делал карандашом пометки в моей тетрадке и советовал побольше читать книг по истории народов, населяющих земной шар. Он говорил, что каждый настоящий поэт должен хорошо знать историю мировой цивилизации. Быт, нравы, природу разных стран, их религии, верования, народные песни, сказания, саги. В то время это меня — увы! — ни в малейшей мере не волновало, хотя я и сделал вид, что восхищен мудрым советом и с ложным жаром стал записывать названия книг, которые он мне диктовал.

Я бы предпочел прочесть нечто такое, что сразу же и без особых хлопот научило меня писать прекрасные стихи и сделало знаменитым поэтом.

Разочаровал меня также настоятельный совет Бунина не стараться во что бы то ни стало печататься, а немного повременить, не торопиться, так как все придет в свое время.

Тут Бунин с сухой полуулыбкой заметил:

— Впрочем, я не сомневаюсь, что вы меня все равно не послушаетесь, будете рассылать свои стихи во все редакции, лишь бы увидеть их, а главное имя свое, напечатанными. Я сам

все это испытал на себе. И теперь очень жалею, что напечатал много слабого. Поймите, милостивый государь, что мне ничего не стоит дать вам свою визитную карточку, и вас напечатают в любом толстом журнале...

Боже, неужели даже в «Современном мире»? — подумал я.

— ...но лучше не надо. Подождите.

О, как мне хотелось рвануться к нему со стоном:

«Пожалуйста, Иван Алексеевич, порекомендуйте мои стихи, дайте, дайте мне вашу визитную карточку. Ну что вам стоит? Вы же сами говорите, что ничего не стоит!»

Но со лживой покорностью я поддакивал ему:

— Понимаю. Да, да. Конечно. Вы совершенно правы. Лучше подождать.

Он посмотрел на меня саркастически:

— А сами небось сегодня же побежите со своими стишками в «Одесский листок». Знаю я вас, молодых поэтов! Не обманете! Сам был таким.

Потом, переменив разговор, очень серьезно, с глубоким убеждением сказал:

— Вам, конечно, хочется как можно скорее узнать от меня все тайны творчества. Не знаю, в состоянии ли я вам в этом помочь. Однако запомните следующее. Во-первых — и это самое главное, — нужно преодолеть в себе отвращение к листу чистой бумаги, которое испытывает почти каждый настоящий писатель, и писать каждый день, регулярно, не дожидаясь вдохновения, настроения и тому подобного, писать — как ходить на службу... или в гимназию.

Теперь я лихорадочно ожидал нового свидания с Буниным, но как раз в это время началась война, он уехал, и лишь спустя четыре года я увидел его вновь, столкнувшись с ним на тех неудобных ступеньках винтовой лестницы, которые вели немного вниз, в контору «Одесского листка», где я, помнится, получал гонорар за напечатанные стихи.

Он стоял передо мной по-прежнему сухой, желчный, столичный, недоступный — мой прежний Ив. Бунин, о котором я все эти годы — даже на артиллерийском наблюдательном пункте — не переставал думать и который как бы стал постоянным контрольным органом моего художественного сознания, и — отступив на шаг — молчаливо рассматривал меня во всех подробностях, будто собирался тут же, не сходя с места, описать.

— Вы меня узнали? — спросил я.

Он ничего не ответил — мне даже показалось, не услышал моего вопроса, — и продолжал рассматривать — я бы даже не побоялся сказать читать меня, делая иногда как бы мысленные пометки на полях.

— Офицер. Георгиевский кавалер. Демобилизован. Вырос, возмужал. — Он покосился на мою правую ногу, которая еще не слишком твердо стояла на ступеньке. — Ранен. Но кость не задета?..

Я, по своему обыкновению, закашлялся от смущения. Он тут же наострил уши, прислушиваясь к моему хриловатому, гораздо более глубокому, чем раньше, жесткому кашлю.

— Газы? — полуспросил он. — Фосген? — И протянул мне свою такую знакомую сухую руку с дружелюбно и откровенно открытой ладонью. — Здравствуйте, Валя, — сказал он, как мне показалось, любуясь мною. — Молодой поэт Валентин Катаев!

— Давно ли вы в Одессе?

Я задал этот вопрос от смущения, так как уже знал о его бегстве из большевистской Москвы в Одессу, где на днях он напечатал несколько новых, еще неизвестных мне стихотворений, из которых одно представляло описание какого-то, по-видимому московского, поэтического вечера и какой-то неизвестной мне поэтессы:

«Большая муфта. Бледная щека».

Затем, сколько помнится, эта поэтесса томно говорила:

«Кузмин, прочтите новый триолет».

И все это маленькое стихотворение заканчивалось короткой строчкой:

«Скучна, беспола и распутна».

Здесь был весь Бунин с его точностью, лаконизмом, желчностью и ненавистью к дилетантскому искусству.

Я заметил, что поэт Кузмин, кажется, никогда не писал триолетов. Бунин сказал, что не имел в виду Михаила Кузмина. Взял первую попавшуюся фамилию. «Если хотите, могу переделать его в кого-нибудь другого».

Из другого же стихотворения запомнились два кусочка. Первый:

«Где ты теперь? Дивуешься ль волнам зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам?»

И последний:

«Скажи поклоны князю и княгине. Целую руку детскую твою за ту любовь, которую отныне ни от кого я не таю».

Впоследствии я уже ни в одном сборнике не встречал этих стихов, но думаю, что если порыться в одесских газетах и журналах того времени, то эти стихи найдутся¹.

Это был какой-то новый для меня, пугающий Бунин, почти эмигрант или, пожалуй, уже вполне эмигрант, полностью и во всей глубине ощутивший крушение, гибель прежней России, распад всех связей: лишь человек, понявший до конца, что жизнь кончена, мог написать, публично и печатно объявить о своей тайной, нежной, может быть даже преступной, любви, которую «отныне ни от кого я не таю».

Почему отныне? Почему не таю?

Да потому, что отныне уже ничего не будет. Все кончено. Он остался в России, охваченной страшной для него, беспощадной революцией. Она — княжна — уже где-то далеко, во Франции, на берегу «зеленого Бискайского залива меж белых платьев и панам».

И потом вместо «передай» — это изысканное, великосветское: «скажи».

«Скажи поклоны князю и княгине».

¹ Стихотворение напечатано в Собрании сочинений И. А. Бунина в девяти томах (том восьмой, 1967; стр. 29).

В этих стихах я ощутил тогда нечто трагическое. Отчаяние. Ужас. Покорность. Такие стихи могли быть написаны в ночь перед казнью.

Мы спустились по Ланжероновской мимо городского театра, мимо газона с гербом города Одессы, составленного из высаженных здесь цветов, миновали античный портик Исторического музея, городскую думу, знаменитую чугунную пушку на ступенчатом деревянном лафете. Затем не торопясь пошли по Николаевскому бульвару от памятника Пушкину по направлению памятника Дюку де Ришелье с чугунной бомбой в цоколе и рукой, протянутой в морскую даль, в «свободную стихию».

Дворец возле Лондонской гостиницы был занят немецким штабом, на подъезде стояли парные часовые в глубоких серо-стальных касках, высоко поперек бульвара висело резко желтое — я бы сказал, осино-желтого цвета — полотнище с резко черной готической немецкой надписью, и Бунин, приостановившись, прочел своими дальноточными глазами орла: «Автомобиленлангзамфарен!», что значило приказание: «Автомобилям ехать медленно!»

Два или три австрийских офицера с саблями в никелированных ножнах стояли возле штаба, читая выставленные в рамках под сетками пространные машинописные оперативные сводки за подписью фельдмаршала Людендорфа, размноженные на ротаторе.

Было странно мне, русскому офицеру, георгиевскому кавалеру, идти по русскому городу, занятому неприятельской армией, рядом с русским академиком, знаменитым писателем, который добровольно бежал сюда из советской России, поддавшийся общей панике и спасаясь неизвестно от чего на оккупированном юге, в какой-то выдуманной немцами украинской державе, которой правил никому не известный до сих пор гетман Скоропадский — личность почти опереточная, — генерал или, может быть, даже полковник бывшей царской армии.

— Когда же мы с вами виделись в последний раз? — спросил Бунин.

— В июле четырнадцатого.

— Июль четырнадцатого, — задумчиво сказал он. — Четыре года. Война. Революция. Целая вечность.

— Тогда я к вам приехал на дачу, но вас уже не застал.

— Да, я уехал в Москву на другой день после объявления войны. С большим трудом выбрался. Все было забито воинскими эшелонами. Опасался Румынии, турецкого флота...

Мы помолчали.

Я увидел знойный июльский день. Сухой, сильный степной ветер нес через Куликово поле тучи черной пыли, клочья прессованного сена, задирали хвосты лошадям, согнанным сюда из окрестных хуторов по конской мобилизации, небо со зловещим, металлическим оттенком и кровавый закат над городом, навсегда для меня связанный со стихами:

«Вечернюю! Вечернюю! Вечернюю! Италия! Германия! Австрия!» И на площадь, мрачно очерченную чернью, багровой крови пролилась струя!»

И с другими, еще более страшными:

«Мама и убитый немцами вечер».

«Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Их бесстрашно написал в дни патриотического угара все тот же молодой футурист, автор так восхитившего меня некогда стихотворения «Порт». Но теперь я уже знал его имя: Владимир Маяковский...

«Звонок. Что вы, мама? Белая, белая, как на гробе газет. «Оставьте! О нем это, об убитом, телеграмма. Ах, закройте, закройте глаза газет!»

Эти строчки пронес я в душе своей через всю войну. Но разве мог об этом знать Бунин? При нем я боялся даже произнести кощунственную фамилию Маяковский. Так же, впрочем, как впоследствии я никогда не мог в присутствии Маяковского сказать слово: Бунин. Они оба взаимно исключали друг друга.

Однако они оба стоят рядом в моей памяти, и ничего с этим не поделаешь.

Бунин быстро шел, выставив вперед бородку, и, вертя жилистой шеей, зорко осматривался по сторонам, как бы желая крепко-накрепко запомнить, а затем точнейшим образом где-нибудь описать все, что было вокруг: пятнисто-фишашковые стволы столетних платанов, замерший порт внизу под бульваром, длинный штабной немецкий автомобиль «бенц» серо-стального цвета, поворачивающий по асфальту за угол мимо постового — обыкновенного русского солдата с круглой чиновничьей кокардочкой на фуражке, украшенной каким-то странным трезубцем, что должно было обозначать принадлежность солдата к так называемой «державной варте» гетмана Скоропадского.

Полосатые тенты хорошо знакомых фруктовых магазинчиков на Екатерининской площади, где лубяные корзиночки с первой клубникой — крупной и сухой — и почти черной или бледно-розовой черешней, в зеркальных ягодах которой отражалось уже почти летнее солнце.

В решительно сжатых челюстях и напряженно собранном лице своего учителя я угадывал хорошо скрытое смущение, даже растерянность. Я узнал, что он приехал с женой, остановился в городе у художника Буковецкого, но на днях переезжает на дачу, куда и пригласил меня навеститься.

Так началось мое двухлетнее общение с Буниным до того дня, когда он наконец окончательно и навсегда покинул родину.

Опять дача за шестнадцатой станцией. Но на этот раз не дача Ковалевского, где я впервые увидел его. А другая. Не доезжая до Ковалевской, по правую руку от трамвайной линии. Более степная, чем приморская. Но такая же типичная большефонтанская дача — ракушниковый дом под черепицей — с ночной красавицей на клумбе, с розами, персидской сиренью и туями, сухими, пыльными, почти черными, с голубенькими скипидарно-мясистыми шишечками на слоисто-кружевных вет-

ках, в глубине которых всегда мутно белела паутина, с открытой верандой, так густо заросшей диким виноградом, что когда вы после сияния знойного степного дня входите по горячим каменным ступеням на эту террасу, то вас сперва ослепляет темнота, а потом в золотистом сумраке вырисовывается обеденный стол, покрытый цветной клеенкой с телесно-розовыми разводами пролитого какао, по которым ползают осы.

Примерно на такой же веранде я впервые увидел жену Бунина — Веру Николаевну Муромцеву, молодую красивую женщину — не даму, а именно женщину, — высокую, с лицом камен, гладко причесанную блондинку с узлом волос, сползающих на шею, голубоглазую, даже, вернее, голубоокую, одетую, как курсистка, московскую неяркую красавицу из той интеллигентной профессорской среды, которая казалась мне всегда еще более недостижимой, чем, например, толстый журнал в кирпичной обложке со славянской вязью названия — «Вестник Европы», выходивший под редакцией профессора с многозначительной, как бы чрезвычайно научной фамилией Овсяннико-Куликовский.

Отвлеченно я понимал, что Вера Николаевна красива, но она была не в моем вкусе: крупные ноги в туфлях на пуговицах, длинноватый нос античной богини — Деметры, например, — добродетельна, а главное, жена Бунина, кажется, даже не венчанная, а на московский либеральный лад — гражданская, о чем в своей автобиографической заметке Бунин, уже, кажется, женатый раньше, писал, что с такого-то года «жизнь со мной делит В. Н. Муромцева». Она была родной племянницей председателя первой Государственной думы, крупнейшего буржуазного политического деятеля кадетской Москвы Муромцева, вдохновителя и организатора знаменитого «Выборгского воззвания».

Теперь они — Бунин и Вера Николаевна, — бежав от большевиков, как тогда выражались — «из Совдепии», сидели на даче вместе с другими московскими беженцами, дожидаясь того времени, когда Советская власть наконец лопнет и можно будет вернуться восвояси.

Я стал у них настолько частым гостем, что Бунин, не стесняясь меня, бывало, ссорился с Верой Николаевной на московский лад:

— Вера, ты сущая дура! — раздраженно кричал Бунин.

А она, глядя на своего повелителя покорно влюбленными голубыми глазами ангела, говорила со стоном:

— Иоанн, умоляю, не будь таким нестерпимо грубым. — Она сплетала и расплетала длинные голубоватые пальцы. — Не безумствуй! Что подумает о нас молодой поэт? Ему может показаться, что ты меня не уважаешь.

Помню, меня чрезвычайно удивило это манерное Иоанн применительно к Бунину. Но скоро я понял, что это вполне в духе Москвы того времени, где было весьма в моде увлечение русской стариной. Называть своего мужа вместо Иван Иоанн вполне соответствовало московскому стилю и, может быть, отчасти намекало на Иоанна Грозного с его сухим, желчным лицом, бородкой, семью женами и по-царски прищуренными соколиными глазами.

Во всяком случае было очевидно, что Вера Николаевна испытывала перед своим повелителем — в общем-то, совсем не похожим на Ивана Грозного — влюбленный трепет, может быть даже преклонение верноподданной.

До этой древнерусской моды она, кажется, называла Бунина на польский манер: Ян.

Я приносил Учителю все новые и новые стихи и рассказы.

— Обрати внимание, Вера, — говорил Бунин, держа в руке мои сочинения и кивая на меня головой, — как и все начинающие, он воображает, что литература принесет ему славу, деньги, роскошную жизнь. Признайтесь, милостивецдарь, — обращался он уже прямо ко мне, — что вы мечтаете о своих портретах в журналах и газетах, похвальных отзывах в прессе, подумываете о собственной даче в Финляндии, о текущем счете в лионском кредите, о красавице жене, об автомобиле! Обрати внимание, Вера, как он покраснел. Сейчас будет врать, что ничего

этого не желает, а желает только одного — чистого искусства. Так вот что я вам скажу, милостивый государь: не воображайте, что все знаменитые писатели непременно богаты. Прежде чем добиться более или менее обеспеченного — весьма скромного, весьма скромного! — существования, почти все они испытывают ужасающую бедность, почти нищенствуют. Не верите? Так вот: скажите мне, как вы себе представляете, например, Куприна? Знаменитый писатель, не так ли? Всюду издается, имеет громадное имя, кумир читающей публики. Согласны?

— О, конечно.

— Так вот-с, позвольте вам сказать, что у этого знаменитого писателя Куприна случались в жизни месяцы, когда в кармане не было трех копеек. И не в переносном смысле, а в самом буквальном: трех медных копеек.

Бунин так выразительно произнес эти слова, что я как бы воочию увидел на его протянутой ко мне ладони медную монету с почерневшим орлом — царские три копейки, которые тогда уже исчезли из обращения, как, впрочем, и вся царская разменная монета, замененная почтовыми марками — синими десятикопеечными и зелеными двадцатикопеечными и странными бумажными желтыми полтинниками, выпущенными одесской городской управой, с гербом города — в виде геральдического щита с черным якорем; так что в портмоне вместо мелочи носили все эти потертые бумажки.

Бунин уносил мои рукописи к себе в комнату, а затем через некоторое время возвращался с ними обратно на террасу, говоря:

— Ну что ж. Продолжайте. Кое-что есть, но надо работать и работать.

Или что-нибудь подобное.

Дома я внимательно изучал следы, оставленные его карандашом или ногтем: легкие подчеркивания, нотабене, галочки, птички, восклицательные знаки, — и ломал себе голову над их значением.

«Здесь прошелся загадки таинственный ноготь...»

С нетерпением, доводящим меня почти до подлинного безумия, ждал я следующего свидания.

Утром нельзя было являться, так как он работал. Я приезжал из города после обеда, перед вечером. А иногда если у меня не было марок на трамвай, то приходил пешком, отмахав по пыльной большефонтанской дороге верст пятнадцать вдоль дач, маяков, станций, время от времени останавливаясь и любуясь открытым морем с белоснежными барашками волн, откуда дул такой чистый и такой широкий ветер!

А солнце садилось в степи, и тени моих шагающих ног в сапогах и галифе — длинные, как будто бы я шел на ходулях, — достигали обрыва с бахромой полыни на краю и там ломались, так что тень моего туловища с головой в измятой фронтовой фуражке как бы проваливалась в пропасть и летала в ней, подобно астральному телу, лишь иногда материализуясь в виде маленького отчетливого силуэта, скользящего по прибрежной гальке или же по мутно-зеленой волне, свернутой, как тугоплавкая стеклянная труба, вдруг разлетающаяся вдребезги среди скал.

С упорством маниака я думал о Бунине, о его новых стихах и прозе, привезенных из советской России, из таинственной революционной Москвы.

Это был какой-то другой, еще неизвестный мне Бунин, новый, совсем не тот, которого я знал вдоль и поперек по его собранию сочинений, вышедшему приложением к «Ниве» во время войны, в желтых обложках с красивой виньеткой, составленной из множества опадающих листьев.

Он все еще — видимо — воспринимался как певец осеннего увядания, автор «Листопада», которым я не устал восхищаться.

«Лес, точно терем расписной, лиловый, золотой, багряный, веселой, пестрою стеной стоит над светлою поляной...»

Эта совсем небольшая описательная поэма, подобно тому как «Евгений Онегин» считался энциклопедией русской жизни,

казалась мне энциклопедией осенних картин всей русской поэзии от Державина до Фета и Полонского.

Быть может, здесь и не было ничего нового, но «Листопад» как бы блестяще, исчерпывающе завершал целую поэтическую эпоху. Каждый его стих вызывал ряд дорогих для всякого русского человека ассоциаций.

«...и Осень тихую вдовой вступает в пестрый терем свой...», «...и месяц медленно встает. Все тени сделал он короче, прозрачный дым навел на лес и вот уж смотрит прямо в очи с туманной высоты небес».

В этом месте мне всегда приходило на память пушкинское: «Как привидение, за рощею сосновой луна туманная взошла».

Строки: «Трубят рога в полях далеких; звенит их медный перелив» — вызывали в воображении «Графа Нулина».

И все же это было оригинальное, чисто бунинское:

«...И в горностаевом шугае, умывши бледное лицо, последний день в лесу встречая, выходит Осень на крыльцо...»

Затем — великолепное завершение:

«...И будут в небе голубом сиять чертоги ледяные и хрусталем и серебром. А в ночь, меж белых их разводов, взойдут огни небесных сводов, заблещет звездный щит Стожар — в тот час, когда среди молчанья морозный светится пожар, Расцвет Полярного Сиянья!»

Было нечто многозначительное в том, что слово «Осень» писалось с большой буквы, как имя собственное. Тогда это мне чрезвычайно нравилось. Теперь же представляется манерным. Но все равно — стихи были прекрасны.

В первых своих книгах Бунин еще находился в плену традиционно-народнических представлений о своей родине как о стране нищей, смиренной, убогой.

«Я не люблю, о Русь, твоей несмелой, тысячелетней, рабской нищеты. Но этот крест, но этот ковшик белый... Смиранные, родимые черты!»

Его еще тогда умиляла нищая Россия, как умиляла она и другого поэта, его современника:

«Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые — как слезы первые любви!»

Теперь же, в последней книжке Бунина, изданной в России, в десятом томе собрания его сочинений еще неизвестного у нас петроградского издательства «Парус», 1918 год, я прочел стихотворение «Архистратиг», где Русь представлялась Бунину уже совсем, совсем другой:

«Архистратиг средневековый, написанный века тому назад на церковке одногловой, был тонконог, весь в стали и крылат... Кто знал его? Но вот совсем недавно открыт и он, по прихоти тщеславной столичных мод, — в журнале дорогом изображен на диво, и о нем теперь толкуют мистики, эстеты, богоискатели, девицы и поэты. Их сытые, болтливые уста пророчат Руси быть архистратигом, кощунствуют о рубище Христа и умиляются — по книгам, — как Русь смиренна и проста».

Эти стихи Бунин написал, кажется, в шестнадцатом году, пророчески ощущая приближение страшной для него революции, с которой не мог примириться до самой своей смерти.

Потом, уже в эмиграции, в конце жизни, Бунин вычеркнул мистиков, богоискателей, поэтов, эстетов; вычеркнул «их сытые, болтливые уста». Но я не признаю этой самоцензуры. Что написано — написано. Слово не воробей.

Так некогда передо мной открылся новый Бунин, как бы выходец из потустороннего древнерусского мира — жестокого, фантастического, ни на что не похожего и вместе с тем глубоко родного, национального, — мира наших пращуров, создававших Русь по своему образу и подобию со всем ее чудовищным смешением языческого и христианского, древнеславянского и угро-финского, варяжского, византийского, татарского — жестокого, кровавого, гениально-самобытного! — царство, нисколько не похожее на ту «древнюю Русь», которую мы привыкли себе представлять, читая в младших классах школы жалкий, тоненький учебник русской истории.

Достаточно перечислить одни лишь названия бунинских сти-

хотворений того времени: «Орда», «Шестикрылый», «Скоморохи», «Казнь», «Чернец», «Матфей Прозорливый», — чтобы понять, что делалось тогда в душе Бунина.

«Алел ты в зареве Батя — и потемнел твой жуткий взор. Ты крылья рыже-золотые в священном трепете простиер. Узрел ты Грозного-юрода монашеский истертый шлык — и навсегда в изгибах свода застыл твой большеглазый лик».

До сих пор меня тягостно волнуют косноязычные строчки Бунина того периода:

«Бысть некая зима всех зим иных лютейша паче»... «Все лицо его тугое смехом сморщилось, корешки зубов из рта зачернелись»... «Туманно утро красное, туманно... Точите нож, мочите солью кнут!.. Давай, мужик, лицо умыть, сапог обуть, кафтан надеть, веди меня, вали под нож в единый мах — не то держись: зубами всех заем, не оторвут!»... «Князь Всеслав в железы был закован»... «И тьма и хлад в моей пещере... Одежды ветхи... Сплю в гробу... О боже! Дай опору вере и укрепи мя на борьбу!»

Если стихи поэта есть некоторое подобие его души, — а это, несомненно, так, в том случае, конечно, что поэт подлинный, то душа моего Бунина, того Бунина, к которому я шагал вдоль большефонтанского берега, корчилась в адском пламени, и если Бунин не стонал, то лишь потому, что все-таки еще надеялся на близкий конец революции.

Между тем жизнь шла своим чередом, и временами даже начинало казаться, что ничего особенного не произошло: просто люди по примеру прошлых годов приехали на юг провести лето на одесском побережье — не беженцы, не эмигранты, а обыкновенные дачники со всеми своими синими эмалированными кастрюльками, керосинками «грэц», купальными чепчиками, велосипедами, сандалиями «скороход», крокетом... Быть может, их, этих дачников, было гораздо больше, чем обычно, но и это не вызывало особой тревоги: просто удачное лето, хорошая погода и, как писалось в «Одесском листке», «большой наплыв дачников, курортный сезон в разгаре», так что одну дачу занимали две или даже три приезжие семьи.

Бунины, например, делили дачу с одной богатой толстой дамой, писательницей, только что впервые напечататавшейся в «Вестнике Европы», что по тому времени было равносильно «вхождению в большую литературу». Дама охотно потеснилась со всем своим семейством — маленькой пухленькой дочкой и ничем не замечательным, но вполне корректным состоятельным чиновником-мужем — и уступила две комнаты с верандой Бунину, слава которого за последние годы заметно выросла. Теперь он был не только поэтом одиночества, певцом русской деревни и оскудения дворянства, но также автором поразительных по силе и новизне рассказов «Господин из Сан-Франциско», «Сны Чанга», «Легкое дыхание», которые сразу же сделали его едва ли не первым русским прозаиком.

Даже мои друзья — молодые и не очень молодые одесские поэты — в один прекрасный день, как по команде, признали его непреерекаемым авторитетом: «Нива» дала своим приложением сочинения Бунина, что сразу же сделало его классиком.

Бунин имел вид дачника, но не банального дачника-провинциала в соломенной шляпе, рубашке-апах и парусиновых туфлях, Бунин был дачник столичный, изысканно-интеллигентный, в дорогих летних сандалиях, заграничных носках, в просторной, хорошо выглаженной холщовой рубашке с отложным воротником, со сложенным вдвое стальным пенсне в маленьком наружном карманчике, подпоясанный не пошлым шелковым шнуром с потрепанными кистями — как, например, у моего папы, — а простым, но тоже, видать, очень не дешевым кожаным поясом, за который он иногда, несколько по-толстовски, засовывал руки; шляпу не носил, а уж если особенно сильно припекало, то вдруг надевал превосходнейшую настоящую панаму, привезенную из дальних стран, или полотняный картуз из числа тех, которые летом носили Фет, Полонский, а может быть, даже и сам Лев Толстой.

Вижу большое общество на дачной веранде. В сущности, не вижу, а заставляю себя увидеть, как бы шаря впотьмах вокруг таинственного механизма памяти и наугад касаясь грубыми пальцами самых его сокровенных узлов.

Все эти люди — беженцы из советской России: именитые адвокаты, врачи, литераторы, даже, кажется, сам академик Овсяннико-Куликовский, знаменитый автор «Психологии творчества», статей о Тургеневе, редактор того самого недостижимого, почтеннейшего «Вестника Европы», где еще совсем недавно был напечатан рассказик толстой дамы, уступившей полдачи Буниным. Теперь она уже как следует, полностью «вошла в русскую литературу» и чувствовала себя в ней прекрасно.

Я, например, еще не вошел, а она уже вошла!

Она была не только толстая. Она была мощная, могучая. Щекастая. С круглыми мускулами по сторонам небольшого ротика. С твердым яблочком подбородка. Черноволосая, чернобровая, с калеными щеками, властная и в то же время так мило, чисто по-женски, млеющая между двумя знаменитыми академиками.

Нет, никогда еще в Одессе не съезжалось такое блестящее общество, правда — беженцы, политические эмигранты, отщепенцы, но все-таки!..

А впрочем, кто знает, кто знает.

Бунин в прекрасном, несколько саркастическом настроении. Он искоса смотрит на могучую даму, как бы прислушиваясь к шелковому треску ее корсета. Можно подумать, что он собирается тут же, не сходя с места, ее описать. Но описать не вообще, а одним штрихом. Сразу видно, что он ищет этот единственный, совершенно точный штрих, и я вместе с тем понимаю, что он втайне дает мне литературный урок.

Затем по его лицу я вижу, что он нашел необходимый штрих и что его находка драгоценна и единственна. Он делает рукой легкий жест, как будто бы издали проводит вокруг лица толстой дамы магический музыкальный овал.

Все замирают, ожидая, что он скажет.

— Так-с,— говорит он, делая указательным пальцем в во-

ображаемом овале две запятушки кончиками вверх, в разные стороны.— Вам, Елена Васильевна, не хватает маленьких черных усиков, и вы — вылитый... Петр Великий.

И вдруг мы все увидели лицо Петра.

Дама багрово краснеет, не зная, как отнестись к этому сравнению: с одной стороны, в ее лице найдено нечто царское, и это хорошо,— в особенности принимая во внимание смутное революционное время,— с другой стороны, нечто мужское, и это плохо. Впрочем, главное заключается в том, что ее «описал» знаменитый Бунин в присутствии знаменитого Овсяннико-Куликовского, и это решает все сомнения.

Она по-дамски и в то же время по-царски улыбается Бунину, хотя на всякий случай и грозит ему пальчиком:

— Ах, Иван Алексеевич, Иван Алексеевич, зачем вы мне делаете публично такие комплименты!

Мотаю себе на ус, обобщая бунинскую находку: «дамское лицо Петра».

Однажды и я попал в поле его дьявольского зрения. Он вдруг посмотрел на меня, нарисовал указательным пальцем в воздухе на уровне моей головы какие-то замысловатые знаки, затем сказал:

— Вера, обрати внимание: у него совершенно волчьи уши. И вообще, милсдарь,— обратился он ко мне строго,— в вас есть нечто весьма волчье.

...А у самого Бунина тоже были волчьи уши, что я заметил еще раньше!

Грустный золотистый день в конце лета. Мы провели его вдвоем, одни в опустевшей даче: соседи переехали в город, а Вера Николаевна отправилась на трамвае в город на привоз за продуктами, добывать которые становилось все труднее и труднее.

Накануне я принес Бунину — по его требованию — все мною до сих пор написанное: штук тридцать стихотворений и

несколько рассказов, частью рукописных, частью в виде газетных и журнальных вырезок, наклепленных клейстером на листы канцелярской бумаги. Получился довольно внушительный сверток.

— Приходите завтра утром, поговорим, — сказал Бунин.

Я пришел и сел на ступеньки, ожидая, когда он выйдет из комнат. Он вышел и сел рядом со мной. Впервые я видел его таким тихим, задумчивым. Он довольно долго молчал, а затем сказал — неторопливо, сосредоточенно — слова, которые я не могу забыть до сих пор, прибавив:

— Я своих слов на ветер не бросаю.

Я не смел верить своим ушам. Мне казалось, что все происходящее со мной — нереально. А он, немного помолчав, наклонил голову и, пристально рассматривая маленькую морскую раковинку среди гравия, вдруг стал говорить какие-то еще неизвестные мне стихи. Я никогда до сих пор не слышал, как он читает свои стихи. Он их произносил, как бы разговаривая с самим собой, бормоча и глубоко вздыхая во время пауз или цезур:

— «Настанет Ночь моя, Ночь долгая, немая. Тогда велит Господь, творящий чудеса, Светилу новому взойти на небеса. Сияй, сияй, Луна, все выше поднимая свой Солнцем данный лик. Да будет миру весть, что День мой догорел, но след мой в мире есть».

И прочел еще другое стихотворение:

— «Звездами вышит парус мой, высокий, белый и тугой, лик богоматери меж них сияет, благостен и тих. И что мне в том, что берега уже уходят от меня! Душа полна, душа строга — и тонко светятся рога молодой луны в закате дня».

День этот понял я как день моего посвящения в ученики, даже — быть может — подмастерья.

Память не сохранила подробностей нашей беседы. Может

быть, этой беседы вообще не было. Было долгое молчание. Был грустный золотистый осенний день, штиль в море и в небе — белая, как облачко, дневная неполная луна.

Рядом со мной на ступеньках сидел в полотняной блузе совсем не тот Бунин — неприятно-желчный, сухой, высокомерный, — каким его считали окружающие. В этот день передо мной как бы на миг приоткрылась его душа — грустная, очень одинокая, легко ранимая, независимая, бесстрашная и вместе с тем до удивления нежная.

Я был поражен, что этот самый Бунин, счастливчик и баловень судьбы — как мне тогда казалось, — так глубоко не удовлетворен своим положением в литературе, вернее — своим положением среди современных ему писателей.

В самом деле: широкому кругу читателей он был мало замечен среди шумной толпы — как он с горечью выразился — «литературного базара». Его затмевали звезды первой величины, чьи имена были на устах у всех: Короленко, Куприн, Горький, Леонид Андреев, Мережковский, Федор Сологуб — и множество других «властителей дум».

Он не был властителем дум.

В поэзии царили Александр Блок, Бальмонт, Брюсов, Зинаида Гиппиус, Гумилев, Ахматова, наконец — хотели этого или не хотели — Игорь Северянин, чье имя знали не только все гимназисты, студенты, курсистки, молодые офицеры, но даже многие приказчики, фельдшерицы, коммивояжеры, юнкера, не имевшие в то же время понятия, что существует такой русский писатель: Иван Бунин.

Бунина знали и ценили — до последнего времени — весьма немногие истинные знатоки и любители русской литературы, понимавшие, что он пишет сейчас намного лучше всех современных писателей. Критика — особенно в начале его литературной деятельности — писала о Буине редко, мало, так как его произведения не давали материала для «проблемных» статей или повода для литературного скандалчика. По этой же причине имя его не упоминалось на афишах публичных лекций и диспу-

тов, где царил низкопробный Арцыбашев со своими половыми проблемами.

Он прямо не говорил мне всего этого, но именно такие мысли сквозили в его отрывистых замечаниях относительно современной литературы, полных яда и сарказма.

Можно было сделать заключение, что из всей современной русской литературы он безоговорочно признает выше себя только Льва Толстого. Чехова же считает, так сказать, писателем своего уровня, может быть, даже немного выше... но ненамного. А остальные... Что же остальные? Куприн талантлив, даже очень, но зачастую неряшлив. О Леониде Андрееве хорошо сказал Толстой: «Он пугает, а мне не страшно». Горький, Короленко, в сущности, не художники, а публицисты, что нисколько не умаляет их большие таланты, но... настоящая поэзия выродилась. Бальмонт, Брюсов, Белый — не более чем московская доморощенная декадентщина, помесь французского с нижегородским, «о закрой свои бледные ноги», «хочу быть дерзким, хочу быть смелым, хочу одежды с тебя сорвать», «хохотал грубым басом, в небеса запускал ананасом...» и прочий вздор; Ахматова — провинциальная барышня, попавшая в столицу; Александр Блок — выдуманная, книжная немецкая поэзия; об лакейских «поэзах» Игоря Северянина — придумали же такое омерзительное слово! — и говорить нечего; а футуристы — просто уголовные типы, беглые каторжники...

В общем, Бунин повторял, только немного другими словами, примерно то же самое, что он за несколько лет до того сказал в речи на юбилее «Русских ведомостей»:

«... чего только не проделывали мы с нашей литературой за последние годы, чему только не подражали мы, чего только не имитировали, каких стилей и эпох не брали, каким богам не поклонялись! Буквально каждая зима приносила нам нового кумира. Мы пережили и декаданс, и символизм, и неонатурализм, и порнографию — называвшуюся разрешением «проблемы пола», и богоборчество, и мифотворчество, и какой-то мистический анархизм, и Диониса, и Аполлона, и «пролеты в вечность», и садизм, и снобизм, и «приятие мира», и «неприятие ми-

ра», и лубочные подделки под русский стиль, и адамизм, и акмеизм — и дошли до самого плоского хулиганства, называемого нелепым словом «футуризм». Это ли не Вальпургиева ночь!»

Примерно эти и подобные им мысли высказывал Бунин, беседуя со мной на ступенях веранды.

Был он при этом как-то необычно тих, задумчив, углубленно-строг и в то же время горестно-нежен, как человек, одиноко переживающий какую-то непоправимую душевную утрату.

...Так себя чувствует человек, потерявший много крови...

Я думаю, это было чувство утраты родины.

Наступило время обеда, Вера Николаевна все еще не возвратилась. Тогда Бунин, заговорщицки поманив меня пальцем, пошел на цыпочках, воровской походкой через всю дачу в кухню, откуда — пошаркав там какой-то металлической посудой, — вскоре вернулся с холодными голубцами на сковородке, кастрюлей с компотом и большой краюхой ситного хлеба под мышкой. Все это он расставил на обеденном столе и молвил повелительно: — Садитесь.

Я еще никогда не ел у Буниных. Они не отличались хлебо-сольством, были скуповаты. По-моему, они даже не держали кухарку, а столовались у соседей, куда иногда за компанию за-таскивали и меня пить чай или ужинать в большой компании московских беженцев, где я познакомился с некоторыми известными людьми. Тут Бунин, не стесняясь, наваливал мне на тарелку всякой еды и приговаривал:

— Вы не стесняйтесь. Я знаю — у вас волчий аппетит. Ешьте. Питайтесь. Ваш молодой организм требует много пищи. Поэзия и молоденькие барышни ежедневно истощают вас. Не отрицайте. Я сам был молод, знаю!

Если же за столом было вино, купленное в складчину, то Бунин забирал в полное свое распоряжение одну бутылку красного удельного, а остальные — как хотят. Меня же, как самого

младшего, он назначал председателем стола и виночерпием, так что я, прежде чем, например, подружиться с Алексеем Толстым, — налил ему не один стакан вина.

Но вернемся к голубцам.

Их было на сковородке четыре штуки — золотистых, немного пригоревших, застывших в сале, — и Бунин, надев пенсне, разделил их поровну: два побольше, покосившись на меня, положил на тарелку себе, а два поменьше — оставил мне.

— Ешьте, не стесняйтесь. Я знаю: вы постоянно испытываете дьявольский аппетит, особенно в гостях.

— Что скажет Вера Николаевна! — воскликнул я.

— А пусть не опаздывает. Впрочем, мы с вами сейчас справимся со всем этим на скорую холостяцкую руку, затем отнесем посуду на кухню — и концы в воду.

В то время я действительно непрерывно испытывал дьявольский голод и, навалившись на аппетитные капустные голубцы, в один миг грубо, по-солдатски расправился с ними, заметив про себя, что и моего учителя тоже никак нельзя упрекнуть в отсутствии аппетита: когда он ел, его бородачка плотоядно двигалась и по сухой шее проходили легкие судороги наслаждения, как бы сопровождая каждый кусок холодных голубцов к месту назначения.

Когда же дело дошло до компота, он сказал, облизывая усы:

— Не будем пачкать глубоких тарелок. Рекомендую прямо так...

Мы быстро съели компот прямо из кастрюли, причем педантичный Бунин предварительно разделил ложкой — строго поровну — густое, разбухшее варено из самых разнообразных фруктов — абрикосов, слив, вишен, зеленых яблок, ранних груш и прочего, — строгим голосом потребовав от меня, чтобы я не заезжал за демаркационную линию, хотя она имела скорее символическое значение.

Мы дружно, в две ложки, навалились на компот, стараясь перегнать друг друга, а потом еще долго макали куски ситника

в густую жижу и вылизывали божественно кисло-сладкие остатки, где попадались скользкие сливовые шкурки.

Не знаю почему, но именно этот компот как-то нас особенно сблизил, мы взяли с собой в сад оставшиеся абрикосовые косточки, и, сидя все на тех же ступенях, разбивали их кирпичом и, как дети, ели нежные белые зерна, покрытые жесткой кожурой...

Я засиделся до позднего вечера, даже, собственно говоря, до ночи, пропустив последний трамвай, Бунин пошел меня немного проводить, и мы еще долго ходили туда и назад вдоль большефонтанского шоссе по трамвайным рельсам, мимо дачи, садились на скамейку у калитки, и он вдруг начинал меня экзаменовать:

— Перед нами ночь. Как вы опишете ее в нескольких словах, но так, чтобы она была именно эта, а не какая-нибудь другая ночь? Видите, как много вокруг нас всего, — он сделал кругообразное движение своей сухой породистой головой, — а надобно выбрать только самое необходимое, как говорят: типичное. Ну?

Вокруг нас было действительно «много всего».

Редкие звезды, ослабленные желтоватым светом луны. Теплый степной ветерок. Силуэты акаций. Ограды дач. Звуки перепелов. Тишина. Далекий лай собак. Время от времени крик ослика. Серебристо-пыльная полынь, ее неповторимый ночной запах. Блеск трамвайных рельсов, как бы скользящий вдаль и там поворачивающий и гаснущий среди угольной темноты. Шорох кошки, а может быть, и ежика в пыльных кустах шиповника. Погашенный маяк.

Да мало ли чего еще!

Мы сели на скамеечку, и пока я с мучительным напряжением отбирал самые что ни на есть необходимые подробности, Бунин вдруг глухо забормотал какие-то стихи. Это был Фет:

— «...то блеск замороженной дали, то запах фиалки ночной...»

Он глубоко, горестно-покорно вздохнул, как бы прислушиваясь и желая понять смысл этих стихов, и снова пробормотал:

— «...то мельница, то соловей».

Он повернул ко мне свое узкое внизу лицо, поднял его к небу, и я увидел написанное на нем восхищение.

— То мельница, то соловей,— повторил он.— Вы понимаете, как это прекрасно? Лучше уже не скажешь! Он сидит ночью один, весь во власти охватившей его душу любви — единственной, неповторимой любви... сидит, окруженный запахами, звуками, какими-то неопределенными зрительными образами,— и его внимание не в силах сосредоточиться на чем-нибудь одном: то его полностью поглощает блеск замороженной дали; то вдруг он ничего не ощущает вокруг, кроме запаха ночной фиалки; то он слышит мельницу, заглушающую соловья; то — соловья, заглушающего мельницу; и все это — одна всепоглощающая любовь. «Мой ангел, мой ангел далекий, зачем я так сильно люблю»,— глухо, почти с отчаянием проговорил Бунин заключительную строчку.

Кто вернет мне эту ночь!

— Ну, так как же вы, милстивсдарь, опишете все это? — бодрым голосом сказал Бунин.

— Я бы описал так,— ответил я,— черный силуэт трамвайного столба с перекладиной в виде коромысла наверху и рядом яркая луна. Все.

— Молодец,— сказал Бунин,— именно так и надо,— и снова глухо забормотал стихи одно за другим, не делая между ними пауз и не оттеняя строф, из цикла «К Офелии» того же Фета: — «Офелия гнила и пела, и пела, сплетая венки; с цветами, венками и песнью на дно опускалась реки... Ах, много по жизни мелькнуло,— с глубоким вздохом прошептал Бунин,— дней светлых безумной тоски, и счастье давно потонуло, лишь песни плывут да венки...»

Такие слова, как «дней светлых безумной тоски», он старался как бы совсем не произносить, «пробросить», и я понял,

что он стесняется за Фета, а самое главное для него: «лишь песни плывут да венки». Эту строчку он проговорил с таким глубоким чувством, сделал такой плавный и бессильный жест рукой, как бы провожая эти песни и венки, уплывающие куда-то по реке времени в невозвратимую даль.

Вслед за этим, без перерыва, он стал пускать вдаль уже свои собственные венки и песни, совершенно новые, которых я до сих пор не знал, иные из них, может быть, лишь сегодня написанные:

— «...Этой краткой жизни вечным измененьем буду неустанно утешаться я,— этим ранним солнцем, дымом над селеньем, в алом парке листьев медленным паденьем и тобой, знакомая, старая скамья. Будущим поэтам, для меня неизвестным, бог оставит тайну — память обо мне: стану их мечтами, стану бес-телесным, смерти недоступным — призраком чудесным в этом парке алом, в этой тишине...»

«...Звезда дрожит среди вселенной... Чьи руки дивные несут какой-то влагой драгоценной столь переполненный сосуд? Звездой пылающей, потиром земных скорбей, небесных слез, зачем, о господи, над миром ты бытие мое вознес?»

Он говорил таинственно, как бы желая внушить мне какую-то великую, сладчайшую истину, только что, вот сию секунду, открывшуюся ему:

— «...В дачном кресле,— таинственно шептал он,— ночью, на балконе... Моря колыбельный шум... Будь доверчив, кроток и спокоен, отдохни от дум. Ветер приходящий, уходящий, веющий безбрежностью морской... Есть ли тот, кто этой дачи спящей сторожит покой? Есть ли тот, кто должной мерой мерит наши знания, судьбы и года? Если сердце хочет, если верит, значит — да. То, что есть в тебе, ведь существует. Вот ты дрем-лешь, и в глаза твои так любовно мягкий ветер дует — как же нет Любви?»

И опять, без перерыва:

— «На даче тихо, ночь темна, туманны звезды голубые, вздыхая, ширится волна, цветы качаются слепые — и часто

с ветром, до скамьи, как некий дух в эфирной плоти, доходят свежие струи волны, вздыхающей в дремоте...»

Минутами мне казалось, что все эти стихи создаются тут же — сию минуту — при мне, что каждая строчка — и «волна, вздыхающая в дремоте», и «мягкий ветер», и в особенности гениальные «слепые цветы» (белые табачки и ночные красавицы!) как-то само собой, незаметно, из окружающей нас действительности превратились в элементы чистейшей поэзии.

Волшебство?

Часов в одиннадцать утра, спасаясь от страшной жары этого лета, я сидел в ванне, до краев наполненной холодной водой, куда из медного крана одна за другой с продолжительными, мертвыми паузами падали увесистые капли, производя короткие, однообразно-музыкальные удары разных тонов:

«...библь!.. бобль!.. бабль!.. бубль!..»

Они действовали успокоительно, усыпляюще, как бы отрешая от той странной, ни на что не похожей, неопределенной действительности, в которой мы все жили в это лето.

Это было через несколько дней после страшных взрывов артиллерийских складов, когда...

Вдруг в дверь ванной комнаты заглянул отец, и по его лицу я понял, что произошло какое-то невероятное событие.

— Иди, там к тебе кто-то пришел. Какой-то незнакомый господин. По-моему, это... Бунин.

Когда я, наспех одевшись и не успев как следует вытереться, с мокрыми волосами прибежал в крайнюю комнату, одну из тех двух, которые мы обычно сдавали жильцам и которые теперь пустовали, то действительно увидел Бунина. Сидя на стуле и заложив ногу за ногу, он весьма светски беседовал с папой, одетым почти так же, как Бунин, с той лишь разницей, что холщовая рубашка отца была более просторна, застирана и подпоясана крученым шелковым поясом с махрами, а сандалии были

рыночные, дешевые и надеты на босу ногу. Да и борода по сравнению с постриженной бородкой Бунина имела вид довольно запущенный. Однако и у папы и у Бунина, как у двух русских интеллигентов, на груди на черных шнурках болтались одинаковые старомодные стальные пенсне, что делало их обоих отдаленно похожими на Чехова: Бунина — на Чехова молоджавого, а папу — на Чехова постаревшего.

Оказывается, я как-то сказал, что мы сдаем комнаты, и Бунин приехал с Большого фонтана, желая устроить у нас своих московских знакомых, беженцев, оказавшихся без жилья. Впоследствии я узнал, что этими беженцами были Алексей Толстой со своим семейством.

Бунин уже успел своими зоркими глазами осмотреть обстановку и, вероятно, уже составил представление о нашем житье-бытье.

Я думаю, это представление соответствовало тому, которое когда-то в юности составил Юрий Олеша о нашей квартире и обо мне:

«...Ему очень понравились мои стихи, он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства. И верно, в них было много щемящей лирики... Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом — печальная, без быта, квартира, где не заведует женщина...»

Эту печальную, без быта, квартиру и увидел тогда Бунин. И, конечно, сразу понял, что для Алексея Толстого с его барскими замашками наши комнаты с продавленным диваном совсем не подходят.

Папа и Бунин степенно беседовали на разные темы. Поговорили о взрывах артиллерийских складов — «это большевики взорвали», убежденно сказал Бунин, — а затем перешли к темам хозяйственным.

На раскаленном подоконнике венецианского окна сушились

некоторые мелкие принадлежности мужского туалета — выстиранные за неимением работницы собственноручно отцом в эмалированном тазике кусочком казанского мыла с синими жилками — воротнички, носки, платки.

— Если угодно, могу дать вам полезный совет, — говорил Бунин, — никогда не стирайте носки в горячей воде с мылом. Тщательно полощите их в холодной воде, отнюдь без мыла, — а затем не гладьте, а просто сушите на солнце. Тогда у вас никогда не будут потеть ноги. Ручаюсь, недавно я сам узнал этот способ и буквально ожил!

Посидев — как визитер — минут двадцать, поговорив о Жуковском и Тургеневе и дружно поругав модернистов, Бунин встал и попрощался с папой, корректно и коротко пожав ему руку.

— Рад был познакомиться.

— Ну, а как вы находите Валины произведения? — почти жалобно спросил папа, пересилив смущение.

— А вы как? — вопросом на вопрос ответил Бунин.

— Мне как отцу трудно судить, но его стихотворения, кажется, недурны в отношении рифм и размеров. А вот рассказы, по-моему, несколько фельетонны, малосодержательны и поверхностны. Вы не находите этого?

— Ну, это разговор длинный и не простой.

— Как вы думаете, из него может выйти что-нибудь путное?

— Трудно ответить в двух словах, — серьезно сказал Бунин, — время покажет.

И он удалился, не позволив мне его проводить.

Покраснев до корней волос, я стоял в полуоткрытых дверях и слушал молодой, твердый стук его каблуков, сбегавших с четвертого этажа вниз, наполняя лестничную клетку гулом и острым шелканьем.

Лишь впоследствии, еще ближе узнав Бунина, я понял подлинный смысл его посещения. Сдающиеся комнаты были лишь повод. На самом же деле — я в этом глубоко уверен — Бунину просто захотелось нагрянуть врасплох и посмотреть,

как я живу, что из себя представляет наша квартира, каков из себя мой отец. Бунин был невероятно любопытен, и ему нужно было всегда, во всех подробностях знать окружающую его жизнь, видеть все своими беспощадно зоркими глазами.

Двойственное чувство осталось у меня после визита Бунина. С одной стороны, было лестно, с другой — как-то непонятно-горько: я вдруг как бы бунинскими глазами, со стороны, увидел своего постаревшего, одинокого, немного опустившегося отца с седыми, давно не стриженными семинарскими волосами и черными неглажеными брюками, нашу четырехкомнатную квартиру, казавшуюся мне всегда хорошо, даже богато обставленной, а на самом деле полупустую, с черной мебелью — рыночной подделкой под дорогую, «черного дерева», которое было обыкновенной дешевой сосной, о чем свидетельствовали потертости и отбитые финтифлюшки — сверху черные, а внутри белые; этот безвкусный стиль с тумбочками для цветов в виде дорических колонок, кажется, назывался в насмешку «бругага».

Керосиновая висячая лампа с бронзовым шаром, наполненным дробью, переделанная на электрическую. Две так называемые «картины» — мещанские, бумажные олеографии «под масло» в унизительно тоненьких золоченых багетах, которые повесили на стенку, так как они были получены «бесплатно», как приложения к «Ниве», что делало их как бы сродни всем русским писателям-классикам, тоже бесплатным приложениям к «Ниве», в их числе теперь и Бунину. Некогда довольно хороший кабинетный диван, много раз перебиваемый и теперь обитый уже потрескавшейся, дырявой клеенкой. Наконец, самая дорогая — даже драгоценная — вещь: мамино приданое пианино, потертый инструмент с расшатанными металлическими педалями, на котором папа иногда, старательно и близорукно заглядывая в пожелтевшие ноты и роняя пенсне, нетвердо, но с громадным чувством играл «Времена года» Чайковского, особенно часто повторяя «Май», наполнявший мою душу невыразимо щемящей тоской.

Мы не были бедными или тем более нищими, но что-то вызывающее сочувствие, жалость было в нашей неустроенности,

в отсутствии в доме женщины — матери и хозяйки, — уюта, занавесок на окнах, портьер на дверях. Все было обнаженным, голым...

Это, конечно, не могло укрыться от глаз Бунина. Он все замечал...

...и кастрюлю с холодным кулешом на подоконнике...

Уходя, он скользнул взглядом по моей офицерской шапке «за храбрость» с анненским красным темляком, одиноко висевшей на пустой летней вешалке, и, как мне показалось, болезненно усмехнулся. Еще бы: город занят неприятелем, а в квартире на виду у всех вызывающе висит русское офицерское оружие!

Он не знал, что к нам с обыском уже приходили австрийцы, требуя оружие. Я показал на свою шапку. Австрийский офицер, такой же молодой, как и я, весь темно-серый, вытуженный, в крагах и новеньком кепи, повертел ее в руках в замшевых перчатках, прочитал по складам надпись: «За храбрость» — и вернул мне со щегольской армейской любезностью, сказав, что я могу ее оставить у себя, так как «такое оружие голыми руками не берут».

А в общем, все это было ужасно грустно.

Настала поздняя осень, а о возвращении Бунина в Москву по-прежнему не могло быть и речи. Советская власть, которой все пророчили близкую гибель, не только не гибла, но даже — по всем признакам — укреплялась.

В Германии произошла революция, кайзера скинули, немецкая армия капитулировала, немцы и австрийцы спешно покидали Украину, так что заключение похабного Брестского мира, — что являлось главным обвинением против большевиков, — по сути дела уже теперь не имело никакого практического значения: Ленин оказался прав.

В Одессу же вместо немцев пришли их победители, так называемые «союзники», и на Юге начался почти двухлетний период, в течение которого власть переходила из рук в руки

раз шесть, а то и больше, пока окончательно и навсегда не установилась Советская власть.

Все это бурное, ни на что не похожее, неповторимое время Бунин прожил в Одессе на Княжеской улице в особняке своего приятеля художника Буковецкого, который предоставил писателю весь нижний этаж — три комнаты, — куда я и приходил, всякий раз испытывая невероятное волнение, прежде чем позвонить с черного хода.

Обычно мне открывала нарядная горничная на французских каблучках, в накрахмаленной наkolке и маленьком батистовом фартучке с кукольными карманчиками. Она была предоставлена в распоряжение Буниных вместе с комнатами и разительно не соответствовала той обстановке, которая царила в городе, в России, в мире.

Жизнь Бунина в этих барских комнатах с массивными полированными дверями, с отлично натертыми паркетами, теплыми мраморными подоконниками венецианских окон, с жарко начищенными медными шпингалетами, с высокими чистыми потолками, отражавшими в летнее время зелень белых акаций, которыми была тесно обсажена тихая аристократическая улица, а зимой — голубые тени сугробов и размытые силуэты извозчичьих саней, с небольшим количеством самой необходимой, но очень хорошей мебели без всех этих мещанских этажерок, тумбочек, безделушек, салфеточек, ковриков, альбомов и накидок, — как нельзя больше соответствовала моему представлению об аристократе, столбовом дворянине, российском академике, человеке безукоризненного вкуса.

Здесь я уже видел не дачника, а настоящего оседлого горожанина, может быть, даже вынужденного политического затворника, выработавшего себе точнейший распорядок дня.

Он много работал. У меня создалось впечатление, что он пишет непрерывно. Когда бы я ни пришел, я неизменно видел дверь его рабочей комнаты, полуоткрытую в темноватый кори-

двор, а за ней — окно, выходящее в тихий двор, небольшой стол и Бунина без пиджака, в свежей сорочке с закатанными до локтей рукавами, обнажавшими сухие, мускулистые руки, который в круглых рабочих очках, делавших его похожим на сову, быстро писал, покрывая небольшие узкие листки писчей бумаги своей характерной убористой клинописью.

Он писал темно-зелеными чернилами автоматической ручкой с золотым пером, если не ошибаюсь, фирмы «Монблан», причем до конца исписанную страницу не промокал, а нетерпеливо откладывал в сторону сохнуть; если же он что-нибудь вписывал в записную книжку, то махал ею перед собой, чтобы страничка скорее высохла.

Услышав мои шаги, он обычно, не оборачиваясь, говорил: — Идите к Вере Николаевне, я сейчас кончу.

Я отправлялся в большую комнату окнами на Княжескую — их салон, — где меня встречала Вера Николаевна, и, соблюдая некую светскую обязанность хозяйки дома, занимала меня необременительным разговором на разные общие темы, разумеется, не унижаясь до погоды.

Однако, будучи женщиной живого ума и чисто бунинского любопытства, она не выдерживала тона и вскоре переводила разговор на совсем другие, далеко не светские темы, задавая вопросы вроде:

— Ну, как у вас подвигается роман с очаровательной Наташей Н.? Не правда ли, она прелестна со своим по-детски большим ртом и длинными руками, настоящая Наташа Ростова. Смотрите, как бы ее маман в один прекрасный день, несмотря на весь свой аристократизм, не выставила вас за дверь. Стало быть, с Ирен А. все кончено? Ах, какой вы непостоянный — настоящий ученик Бунина. — Она грустно вздыхала. — И, позвольте вас спросить, кому это вы посвятили «чи-то маленькие ножки отпечатали следы», что-то я никак не могу понять, чи это маленькие ножки? Не слишком ли много ножек?

Она была в курсе всех моих романов, с некоторыми моими барышнями лично знакома и живейшим образом интересовалась моими любовными похождениями — впрочем, довольно невин-

ными! — напоминая не строгую даму, жену академика, а скорее старшую сестру или даже замужнюю кузину.

— Ян,— говорила она входящему Бунину,— оказывается, у него в полном разгаре роман с Наташей.

— Ну, разумеется,— говорил Бунин.— Посмотри на него: щеки ввалились, под глазами синяки. Сразу видно — вместо того, чтобы работать, вы бог знает где шляетесь по ночам, надо полагать — до зари стоите под окном, ожидая, что она вам откроет и впустит. Черта с два, милостивый государь, не на такую напали. Я хорошо знаю этих большеротых и длинноногих гимназисток!..

Бунин присаживался к круглому, не покрытому скатертью столу из цельного палисандрового дерева, на котором, отражаясь, как в вишнево-красном зеркале, стояла штампованная из тонкой меди, вернее из латуни, чашка, служившая пепельницей — полое легкое полушарие с тисненым восточным орнаментом, вещь, по-видимому, купленная Буниным на константинопольском базаре Атмейдане, а может быть, в Смирне или Александрии.

Во всяком случае эта пепельница всегда мне напоминала восточные стихотворения Бунина, и в первую очередь, конечно, «он на клинок дохнул — и жало его сирийского кинжала померкло в дымке голубой: под дымкой ярче заблистали узоры золота на стали своей червонною резьбой. «Во имя бога и пророка. Прочти, слуга небес и рока, свой бранный клич: скажи, каким девизом твой клинок украшен?» И он сказал: «Девиз мой страшен. Он — тайна тайн: Элиф. Лам. Мим».

В общем, эта пепельница была как бы тайной тайн: Элиф. Лам. Мим. И она отражалась в круглом столе.

Заложив ногу за ногу, Бунин точным движением пальцев сощелкивал в нее пепел папиросы.

Не знаю почему, но мне ужасно нравилась эта пепельница; она казалась верхом роскоши, почти музейной редкостью, предметом таинственного культа, особенно красивая на ледяной поверхности пустого, безукоризненно отшлифованного стола, среди этой барской комнаты, наполненной запахом дорогого турец-

кого табака «месаксуди» и благоговейной тишиной, отделенной от внешнего мира двойными зеркальными стеклами.

Теперь я думаю, что эта пепельница была самым дешевым рыночным сувениром из числа тех, которые сотнями привозили пассажиры пароходов Русского общества пароходства и торговли — «Ропит» — из своих малоазиатских рейсов. Но я был в нее просто влюблен и по своей еще не изжитой детской привычке думал: когда вырасту большой, то непременно у меня будет такая же точно пепельница, и я буду в нее сбрасывать пепел папирос из самого лучшего турецкого табака «месаксуди».

Тогда эта пепельница была еще совсем новая, блестящая, хотя внутри уже несколько потемнела, стала сизой от табачной золы и спичечных угольков, и сразу же, как только я ее впервые увидел, мне почему-то пришло на ум одно из новых стихотворений Бунина «Кадильница».

«В горах Сицилии, в монастыре забытом... стоит нагой престол, а перед ним, в пыли, могильно-золотая, давно потухшая, давным-давно пустая, лежит кадильница — вся черная внутри — от угля и смолы, пылавших в ней когда-то... Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты сгори».

Как я мечтал тогда, чтобы мое сердце сгорело до черноты! Но я не представлял себе, как это страшно.

— Ну-с, что скажете хорошенького?

— Написал новый рассказ.

— Разумеется, принесли?

— Вот он.

— Вера, не уходи. Сейчас Валентин Катаев прочтет нам свой новый рассказ. Мы вас слушаем.

Обычно, внимательно и терпеливо выслушав мой новый рассказ от начала до конца, Бунин не вдавался в его подробное обсуждение, а ограничивался двумя-тремя коротенькими замечаниями по поводу того, где у меня хорошее место и где плохое; почему именно одно плохо, другое — хорошо; и какие нужно из этого сделать практические выводы.

Он всегда касался мелочей, но неизменно приводил их к важным обобщениям. Так, например, я узнал, что в литературе нет запретных тем: важно лишь, с какой мерой такта будет об этом сказано, и я навсегда усвоил себе несколько бунинских рекомендаций: такт, точность, краткость, простота, но, разумеется, — и Бунин это подчеркивал много раз, — он говорил не о той простоте, которая хуже воровства, а о простоте как следствии очень большой работы над фразой, над отдельным словом — о совершенно самостоятельном видении окружающего, не связанном с подражанием кому-нибудь, будь то хоть сам Лев Толстой или Пушкин, то есть об умении видеть явления и предметы совершенно самостоятельно и писать о них абсолютно по-своему, вне каких бы то ни было литературных влияний и реминисценций.

В особенности Бунин предостерегал от литературных штампов, всех этих «косых лучей заходящего солнца», «мороз крепчал», «воцарилась тишина», «дождь забарабанил по окну» и прочего, о чем еще до Бунина говорил Чехов.

К числу мелких литературных штампов Бунин также относил, например, привычку ремесленников-беллетристов того времени своего молодого героя непременно называть «студент первого курса», что давало как бы некое жизненное правдоподобие этого молодого человека и даже его внешний вид: «студент первого курса Иванов вышел из ворот и пошел по улице», «студент первого курса Сидоров закурил папиросу», «студент первого курса Никаноров почувствовал себя несчастным».

— До смерти надоели все эти литературные студенты первого курса, — говорил Бунин.

И я тут же дал себе страшную клятву, что у меня в рассказах никогда не будет ни одного студента первого курса. Для того, чтобы поскорее на практике исполнить эту клятву, я в тот же день начал писать рассказ о некоем молодом человеке, но ни в коем случае не студенте, и тут же я сразу запнулся, потому что никак не мог придумать, кто же будет мой молодой человек? Человека более зрелого возраста легко можно было сделать титулярным советником, штабс-капитаном, приказчиком,

обер-кондуктором, мало ли кем. Со стариками дело обстояло еще проще: генерал, действительный статский советник, купец второй гильдии, сельский староста и тому подобное. А вот молодой человек...

Я вышел пройтись для того, чтобы на свободе придумать, кем бы сделать моего молодого человека. И тут я увидел на круглой тумбе афишу городского театра с черной лирой наверху, извещавшую о премьере какой-то оперы, где, между прочим, было напечатано: «декоратор Дмитриев». Превосходно, подумал я, пускай же мой молодой человек будет декоратор.

И вот я уже сижу за круглым лаковым столом, разложив возле турецкой пепельницы рукопись нового рассказа. Кашляя от волнения, я предвкушаю одобрение Буниным того факта, что мой молодой человек не студент первого курса и даже не подпоручик, а — вообразите себе! — декоратор: и шикарно, и вполне соответствует жизненной правде.

Я очень торопливо, с жаром прочел свой рассказ, где — помнится — были описаны любовные переживания молодого декоратора, первое свиданье, разрыв с любимой женщиной, ночное пьянство и даже — кажется — нюханье кокаина в какой-то подозрительной компании и наконец описание очень раннего, солнечного, еще до озноба холодного утра на Николаевском бульваре, где по гранитным ступеням знаменитой лестницы ходили большие розовые голуби.

Все это я описал с большим щегольством и, читая, время от времени бросал потайные взгляды на Бунина, желая прочесть по его лицу впечатление, которое производит на него моя проза, казавшаяся мне самому на редкость красивой.

Сперва замкнутое лицо Бунина выражало привычное профессиональное внимание. Я даже заметил, как он один раз значительно переглянулся с Верой Николаевной. Небось разобрало-таки старика! Но затем он начал заметно мрачнеть, нетерпеливо подергивая шейю, а к концу рассказа уже — к моему ужасу — не скрывал раздражения и даже начал довольно громко постукивать каблуком по паркету. Когда же я дошел до коронного

места с розовыми от зари голубями, которые должны были, по моим соображениям, особенно понравиться Бунину, и не без некоторого скромного самодовольства провозгласил заключительную фразу рассказа, то Бунин некоторое время молчал, повернув ко мне злое лицо со страшными, грозно вопрошающими глазами, а затем ледяным голосом спросил:

— И это все?

— Все,— сказал я.

— Вот тебе и раз. Так какого же вы черта,— вдруг заорал Бунин, стукнув кулаком по столу с такой силой, что подпрыгнула пепельница,— так какого же вы черта битых сорок пять минут морочили нам голову! Мы с Верой сидим как на иголках и ждем, когда же ваш декоратор наконец начнет писать декорации, а, оказывается, ничего подобного: уже все. Розовые голуби и — конец!..

За этим же круглым столом, перед этой же пепельницей с таинственными арабскими знаками однажды Бунин прочел мне только что законченный им — еще даже не высохли зеленые чернила — прелестный рассказ о смерти старого князя, и когда я спросил, долго ли он писал этот рассказ, Бунин ответил:

— Часа три.

Заметив мое изумление, он прибавил:

— Я вообще пишу быстро, хотя печатаю медленно. Первую часть «Деревни» я, например, написал что-то за две недели. Разумеется, обдумывал долго, но потом написал сразу, единым духом. Кое-что поправил при переписке и в корректуре: но это, как водится!

До этих пор я был уверен, что он пишет очень медленно, с массой черновиков, поправок, вариантов, отделявая каждую фразу, по десяти раз меняя эпитеты.

У меня сложилось впечатление, что подобного рода «флоризм», и до сих пор еще весьма модный среди некоторых писателей, глубоко убежденных, что есть какое-то особенное писательское мастерство, родственное мастерству — скажем — шли-

фовальщика или чеканщика, способное превратить ремесленника в подлинного художника,— ни в какой мере не был свойствен Бунину, хотя он иногда и сам говорил о «шлифовке», «чеканке» и прочем вздоре, который сейчас, в эпоху мовизма, вызывает у меня только улыбку.

Сила Бунина-изобразителя заключалась в поразительно быстрой, почти мгновенной реакции на все внешние раздражители и в способности тут же найти для них совершенно точное словесное выражение.

Он сказал мне, что никогда не пользуется пишущей машинкой, а всегда пишет от руки, пером.

— И вам не советую писать прямо на машинке. После того, как вещь готова в рукописи, можете перепечатать на машинке. Но само творчество, самый процесс сочинения, по-моему, заключается в некоем взаимодействии, в той таинственной связи, которая возникает между головой, рукой, пером и бумагой, что и есть собственно творчество.

Говоря это, Бунин коснулся своей головы, затем пошевелил кистью руки, которая держала автоматическую ручку с золотым пером, коснулся листа бумаги его наплавленным платиновым кончиком и сделал на ней несколько закорючек.

— Когда вы сочиняете непосредственно на пишущей машинке, то каждое выстуканное вами слово теряет индивидуальность, обезличивается, в то время как написанное вами собственноручно на бумаге, оно как бы является материальным, зримым следом вашей мысли — ее рисунком,— оно еще не потеряло сокровенной связи с вашей душой — если хотите, с вашим организмом,— так что если это слово фальшиво само по себе, или не туда поставлено, или неуместно, бестактно, то вы это не только сейчас же ощутите внутренним чутьем, но и тотчас заметите глазами по некоторому замедлению, убыстрению и даже изменению почерка. Одним словом, ваш почерк — единственный, неповторимый, как часть вашей души — просигнализирует вам, если что: «Не то!», — сказал он, несколько видоизменив последнюю строчку своего стихотворения «Компас»:

«Не собьет с пути меня никто. Некий NORD моей душою правит, он меня в скитаньях не оставит, он мне скажет, если что: не то!»

Я часто навел разговор на «Господина из Сан-Франциско», желая как можно больше услышать от Бунина о том, как и почему написан им этот необыкновенный рассказ, открывший — по моему мнению — совершенно новую страницу в истории русской литературы, которая до сих пор — за самыми незначительными исключениями — славилась изображением только русской жизни: национальных характеров, природы, быта. Если у наших классиков попадались «заграничные куски», то лишь в той мере, в какой это касалось судеб России или русского человека.

В нарушение всех традиций Бунин написал произведение, где русским был только замечательный язык и та доведенная до возможного совершенства пластичность, которая всегда выделяла русскую литературу из всех мировых литератур и ставила ее на первое место, все же остальное в «Господине из Сан-Франциско» — пейзаж, персонажи, сюжет — было иностранное, точнее сказать — интернациональное — пускай даже космополитическое! — а главное, ультрасовременное: с американским миллионером, трансатлантическим лайнером, жизнью люкс в первоклассных международных отелях, с барами, танго, автомобилями, коктейлями, радиосвязью, парижскими модами, безумным богатством, ужасающей нищетой и всем тем, что с особенной силой расцвело на земном шаре перед первой мировой войной и что, примерно в то же время, Ленин назвал высшей стадией капитализма — империализмом.

В «Господине из Сан-Франциско» как бы все время где-то незримо присутствует тень гибнущего «Титаника» и зловеще звучит заключительный аккорд всего повествования:

«А середина «Атлантиды», столовые и балльные залы ее изливали свет и радость, гудели говором нарядной толпы, благоухали свежими цветами, пели струнным оркестром. И опять мучительно извивалась и порою судорожно сталкивалась среди этой

толпы, среди блеска огней, шелков, бриллиантов и обнаженных женских плеч, тонкая и гибкая пара нанятых влюбленных: грешно-скромная девушка с опущенными ресницами, с невинной прической и рослый молодой человек с черными, как бы приклеенными волосами, бледный от пудры, в изящнейшей лакированной обуви, в узком, с длинными фалдами, фраке — красавец, похожий на огромную пиявку. И никто не знал ни того, что уже давно наскучило этой паре притворно мучиться своей блаженной мукой под бесстыдно-грустную музыку, ни того, что стоит гроб глубоко, глубоко под ними, на дне темного трюма, в соседстве с мрачными и знойными недрами корабля, тяжко одолевавшего мрак, океан, вьюгу...

Даже повторить эти бунинские слова, переписав их своею рукой, и то громадное наслаждение!

Еще до «Господина из Сан-Франциско» Бунин написал потрясающей силы антиколониальный рассказ — тоже полностью «иностранный» — «Братья», трагедию, разыгравшуюся между белым господином и цветным рабом на сказочно прекрасном острове Цейлоне. Этот рассказ мог бы даже показаться переводным, написанным, например, Редьярдом Киплингом, если бы — опять же! — не удивительный русский язык и не бунинская неповторимая пластика, доводящая его описания до стереоскопической объемности и точности, — свойство, которым не мог похвастаться ни один современный Бунину мировой писатель.

— Почему вас удивляет, что я написал такие «не русские» рассказы? Я не давал клятвы всю жизнь описывать только Россию, изображать лишь наш, русский быт. У каждого подлинного художника, независимо от национальности, должна быть свободная мировая, общечеловеческая душа; для него нет запретной темы; все сущее на земле есть предмет искусства. Общая душа, общая душа. «Счастлив я, — вдруг проговорил он, понизив голос до таинственного бормотания, — счастлив я, что моя ду-

ша, *Виргилий*, не моя и не твоя». Понимаете: не моя и не твоя. А общая. В этом смысле я, если хотите, интернационален. Может быть, даже сверхнационален. Главное же, что я здесь, в «Господине из Сан-Франциско», развил — это в высшей степени свойственный всякой мировой душе симфонизм, то есть не столько логическое, сколько музыкальное построение художественной прозы с переменами ритма, вариациями, переходами от одного музыкального ключа в другой — словом, в том контрапункте, который сделал некоторую попытку применить, например, Лев Толстой в «Войне и мире»: смерть Болконского и пр.

Может показаться странным, почти невероятным, что в то время, когда вокруг бушевала гражданская война, передвинувшаяся с севера на юг, — в особняке на Княжеской улице за зеркальными стеклами продолжалась, скорее, впрочем, воображаемая, чем настоящая, жизнь совсем небольшого круга людей, занятых вопросами художественной литературы, поэзии, критики, чтением братьев Гонкуров в подлиннике, продолжением вечных московских споров о Толстом и Достоевском и о том, что такое симфоническая проза, впервые в русской и мировой литературе примененная в такой полноте лишь в «Господине из Сан-Франциско».

Кажется, именно тогда я впервые познакомился с некоторыми мыслями братьев Гонкуров.

«В наше время создать в литературе героев, которых публика не узнает, как старых знакомых, открыть оригинальную форму стиля — еще не все; нужно изобрести бинокль, при помощи которого ваши читатели могут увидеть существа и вещи через такие стекла, какими еще никто не пользовался; посредством этого бинокля вы показываете картины под неведомым до сих пор углом зрения, вы создаете новую оптику. Мы с братом придумали этот бинокль, а теперь я вижу, что вся молодежь пользуется им»...

Не пользовался ли Бунин этим биноклем? Чем черт не шутит!

Лучшие консерваторы в искусстве получаются из бывших революционеров. И наоборот.

«Воспоминания» Банвиля очень забавны. Ни слова настоящей правды, современники словно из волшебных сказок, но видит он их сквозь оптику, свойственную ему одному: странную, в высшей степени земную оптику...

Земная оптика — это великолепно!

Не следует забывать, что я записываю здесь лишь то, что сохранила мне память из тех «литературных уроков», которые я почерпнул во время своего общения с Буниным, а он вовсе не был склонен к сидячей, кабинетной жизни; наоборот, он испытывал постоянную потребность находиться в толпе, разговаривать с прохожими, быть свидетелем уличных происшествий, а вовсе не давать, сидя дома, уроки мастерства молодым писателям вроде меня. Об этом свидетельствуют опубликованные впоследствии в виде совсем маленьких, крошечных рассказиков — миниатюр — различные беглые зарисовки с натуры вроде, например, «Ландо».

«У смерти все свое, особое. Возле ворот дачи стоит огромное старое ландо, пара черных больших лошадей: приехал из города хозяин дачи. Что-то необычное, чрезмерное в этом ландо и в этих лошадях. Почему? Оказывается, что лошадей и ландо дал хозяину дачи его приятель, содержатель бюро похоронных процессий. Кучер, сидевший на козлах, так и сказал:

— Это ландо из погребательной конторы.

И, в довершение всего, черная борода кучера имеет цвет сухой ваксы: крашеная».

Земная оптика! Не мовизм ли это или во всяком случае его зарождение?

Почти каждый день, в любую погоду Бунин несколько часов подряд ходил по городу. Именно ходил, а не гулял, быстрым легким шагом, в коротком до колен демисезонном столичном пальтишке, с тростью, в профессорской ермолке вместо шляпы — стремительный, напряженно внимательный, сухощавый. Характер одесских улиц постоянно менялся в зависимости от политической обстановки. То как бы вновь воскресала дореволюционная жизнь с рысаками под синими сетками зимой, с цветочницами и менялами на углу Дерибасовской и Преображенской против проходных ворот дома Вагнера летом, с биржевыми зайцами и «лепетутниками» за мраморными столиками знаменитых одесских кафе — Фанкони и Робинá, с ночными клубами, кабаре, шантанами, театрами миниатюр, с нарядными английскими яхтами Екатерининского и Черноморского яхт-клубов, которые уходили одна за другой мимо белокаменного маяка с медным сигнальным колоколом в перспективу открытого моря, слегка мглистого от заграничного ветра, с иллюзионами и военным оркестром под управлением Чернецкого на Николаевском бульваре.

То все это вдруг сметало в течение одной бурной ночи, в грозно опустевшем городе слышались лишь гулкие шаги красногвардейских патрулей, и окна особняков и банков дрожали от проезжавших броневиков с матросами, лежавшими на крыльях, выставив вперед винтовки и маузеры. То вдруг оказывалось, что город занят петлюровцами или даже какими-то «батьковцами», и тогда на всех углах появлялись чубатые хлопцы в ободранных солдатских шинелях без хлястиков, с нечищеными винтовками вверх прикладами, требуя предъявления каких-то удостоверений, а если удостоверений не было, то они пропускали и так, без удостоверений. То на улицах появлялись веселые ребята из британской морской пехоты, беглым шагом торопившиеся неизвестно куда, гоня перед собою футбольный мяч. То ходили по бульвару французские солдаты в синих шинелях, в гетрах, с двугорлыми алюминиевыми фляжками на боку, наполненными красным винцом и водой. Проезжали странные двуколки с громадными колесами, которыми правили громадные негры с вылупленными удивленными глазами.

Я наблюдал Бунина на солдатской барахолке, где он стоял посреди толпы с записной книжкой в руках, невозмутимо и неторопливо записывая своей четкой клинописью частушки, которые выкрикивали два братишки — черноморские военморы, лихо отплясывая, положив руки друг другу на плечо и мотая широкими клешами, — модное «яблочко» или «Дерибасовскую», а вокруг стояли китайцы в армейских телогрейках, в черных обмотках и круглых кепках, держа в руках узорчатые складные веера из цветной папиросной бумаги, с ног до головы обвешанные своим традиционным китайским товаром: трещотками, гарусными птичками, маленькими растягивающимися бумажными драконами и тиграми на двух палочках, фонариками, свистульками, отрезами чесучи, туфлями на толстых подошвах из пресованной бумаги.

Помню доводящий до обморока, тошнотворный запах кунжутного масла, чеснока, едкого человеческого пота.

Но Бунин не обращал на это никакого внимания и спокойно работал, покрывая своими записями страничку за страничкой.

Самое поразительное было то, что на него решительно никто не обращал внимания, несмотря на его профессорскую внешность, которая никак не сливалась с базарной толпой, а может быть, именно вследствие этой внешности: кто знает, за кого его принимали? Мне даже тогда пришла в голову мысль: не принимают ли его здесь — этого худого костлявого барина в чудачьей шапочке, с автоматической ручкой в руке — за какого-нибудь базарного графолога, фокусника, мага или предсказателя судьбы, который продает листки со «счастьем», что было вполне в духе времени: никто не удивился, если бы вдруг увидел на его плече попугая или обезьянку в коленкоровой юбочке.

Эту картину напомнил мне впоследствии шанхайский рынок, «Храм мэра города», где среди золоченых идолов, в дыму курительных палочек, я вытащил из священной урны свернутую бумажку с предсказанием:

«Феникс поет перед солнцем. Императрица не обращает внимания, и трудно изменить волю императрицы. Но имя ваше останется в веках».

Непомерно громадная, однообразная толпа окружала меня, как бы желая стиснуть и поглотить. Я терял сознание среди розовых детских кофт с цветочками, воспаленно-красных атласных подушек и пуховых одеял, сундуков из сандалового дерева и свежих литографических портретов толстолицего китайца с опухшими глазами, мандарина в тужурке с тесным стоячим воротником — великого кормчего Мао Цзэ-дуна, — и передо мной все время маячили маково-черные ряды висящих иероглифов таинственного предсказания. И я мучительно гадал: кто же феникс, и кто солнце, и кто императрица, и чье имя останется в веках?

Посмотрим!

Однажды, желая дать ему возможность заработать, знакомые уговорили Бунина выступить с чтением своего нового, еще неизвестного в Одессе рассказа «Сны Чанга». Он долго отказывался, уверяя, что это решительно никому не интересно, что все равно никто не придет, что широкая публика его абсолютно не знает и что занимать целый вечер чтением одного рассказа просто глупо: публика не выдержит и все это предприятие принесет устроителям одни только убытки. В конце концов его все-таки убедили, он дал согласие, но предупредил, что гонорар за выступление — «за позор», как он выразился, — желает получить вне всякой зависимости от сбора, хотя бы в зале было абсолютно пусто.

— Я не настолько богат, господа, чтобы публично срамиться, да еще и бесплатно, — сказал Бунин, невесело усмехнувшись.

Были расклеены по городу афиши, выпущены узкие программы, и точно в объявленное время в артистической комнате одесского музыкального училища, где обычно устраивались наиболее изысканные концерты для избранной публики и вечера

поэзии нашей «Зеленой лампы», о которой я, может быть, когда-нибудь расскажу,— появился Бунин. Он был бледен, изысканно одет, в свежем белье и высоком крахмальном воротничке, между отворотами которого свободно умещалась его острая бородка, не настолько длинная, чтобы закрыть широкий узел шелкового галстука — темного, с лиловыми разводами рисунка «павлиний глаз» и даже, кажется, жемчужной булавкой.

В плохо освещенной холодной артистической сидели устроители, среди которых главным лицом был муж толстой дамы-писательницы, похожей на Петра Великого, уже давно сидевшей в первом ряду почти пустого зала как раз против столика на эстраде, где зябко блестел традиционный графин кипяченой воды и стакан, и время от времени беспокойно поправлявшей на могучей груди аметистовую брошь.

Бунин, щелкая крахмальными манжетами, молча пожал всем нам руки и сел в стороне на диванчик, положив рядом с собой совсем небольшой квадратный портфель, скорее дамский, чем мужской, отличной желтой кожи английской выделки, в котором лежала рукопись рассказа.

Было совершенно ясно, что вечер уже провалился: публика не пришла.

— Ночное дежурство в бюро похоронных процессий,— немного помолчав, сказал Бунин, поглядывая на давно не отремонтированный лепной потолок.— Я ведь вас, господа, предупреждал,— прибавил он с горьковатой усмешкой, в которой нетрудно было прочесть неотступную мысль о своей литературной судьбе.

(Небось на Игоря Северянина или на Вертинского набился бы полный зал! Да и на Леонида Андреева тоже, не говоря уже о Максиме Горьком. Ничего не поделаешь — властители дум! А на меня кто пойдет? Только настоящие ценители...)

Ну так что ж, милостивые государи, будем все-таки начинать или мирно разойдемся по домам? — спросил Бунин.

— Публика помаленьку собирается,— неуверенно сказал

муж толстой писательницы, — подождем еще с четверть часика, да и начнем с богом.

— Даже как-то неловко, — проворчал Бунин, — в зале полтора человека. Я предупреждал, что на меня не пойдут.

— Побойтесь бога, Иван Алексеевич, если не на вас, то на кого же? — воскликнул кто-то из устроителей лживым голосом. — А все дело в том, что афиши поздно расклеили, да и заметок в газетах было маловато, а главное в том, что сегодня ночью предполагается вооруженное выступление гайдамаков... Так что — сами понимаете...

— Да уж вы меня не утешайте, — решительно сказал Бунин и поднес к глазам афишку, где ему сразу же бросилась в глаза глупейшая, чисто провинциальная опечатка: вместо «Сны Чанга» были жирным шрифтом напечатаны бессмысленные слова «Сны Чашка».

Лицо Бунина искривилось, как будто его внезапно ударили под вздох, и он даже вскрикнул «ой!», но сейчас же взял себя в руки и устало махнул рукой.

— А, черт с ним!

Быть может, потому, что за высокими окнами, за кремовыми воланами штор иногда на улице слышались одиночные винтовочные выстрелы, ударявшие в стекла, как тугие резиновые мячики, вызывая представление о темном, насторожившемся ночном городе с наглухо запертыми, забаррикадированными воротами и броневиками на углах, — кто-то вполголоса заговорил о поэме Блока «Двенадцать», которая лишь недавно проникла к нам с севера через демаркационную линию и сразу же вызвала среди молодежи восторг.

«Трах-тах-тах! — И только эхо откликается в домах...»

— Не понимаю, что находят хорошего в этих самых «Двенадцати» и до какой меры падения мог дойти поэт, состряпавший эти вульгарные, дубовые частушки, — отрывисто сказал Бунин, передернув плечами, — Ванька с Катькой в кабаке, у ей

керенки есть в чулке... До такого падения еще никогда не доходила русская литература. А ведь этот поэт — хотя он и всегда был манерный, — но все же поэт, — когда-то писал стихи о мадонне, о Прекрасной Даме «в сиянии красных лампад»... И потом, что это за Иисус Христос в белом венчике из роз? Он, вероятно, хотел сказать в веночке. Венчик — это не веночек, а совсем другое. Тут даже нет элементарного чутья русского языка. Типичнейший модернизм!

Говоря это, Бунин смотрел прямо мне в лицо не то чтобы злыми, а прямо-таки ненавидящими глазами, причем щеки его ввалились, сделались как бы еще более костлявыми.

— А вы, разумеется, в восторге? Ну еще бы! Вы, наверное, и «Скифы» считаете великим пророческим произведением... Как же, «держали щит меж двух враждебных рас — монголов и Европы». И потом, что это за стальные машины, где дышит интеграл? Ну, посудите сами, как это интеграл может дышать, да еще не где-нибудь, а в стальных машинах. Дичь какая-то. Декадентская чушь.

Я пришел в смятение потому, что уже давно и тайно от Бунина был влюблен в Блока, и если первая книга, которую я просил мне купить, была стихотворения Бунина, то вторая, которую я купил сам, на свои собственные деньги, была «Снежная ночь» Александра Блока.

Не могу сказать, чтобы мне тогда понравились «Двенадцать». Они во многом отталкивали меня, как — впрочем — всегда сначала отталкивает новая, небывалая в литературе, совершенно оригинальная форма, без которой невозможно новое содержание, тем более если этим содержанием является революция.

До революции я еще тогда не дозрел.

Но уже и тогда «Двенадцать» потрясли меня своей неслышанной живописью — достоверной, точной, вещественной, не реалистической, а материалистической, ни на какую другую не похожей.

Черный вечер. Белый снег. Сверху снежок. Под ним — ледок. Падающая баба — и, бац, растянулась. Огни, огни, огни. Оплечь — ружейные ремни. Электрический фонарик на огло-

бельке. Рвет, мнет и носит большой плакат: «Вся власть Учредительному собранию». Шоколад «миньон» жрала! Не видать в снегу друг друга за четыре за шага...

О, эти четыре шага! Не два, не три, а именно четыре. Как они — эти четыре роковые шага — ранили воображение не одного поэта. Как трудно было от них избавиться.

Я уже не говорю о гениальных строчках: «...нежной поступью надвьюжной, снежной россыпью жемчужной», — быть может, лучших во всей мировой поэзии.

Что же касается «Скифов», то я их признавал полностью, не только восхищаясь ими, но испытывая нечто вроде подлинного священного ужаса при чтении этих пророческих тяжело-весных ямбов, сохранивших власть над моей душой и над моим воображением до сегодняшних дней.

Все было в них согласно с моим тогдашним представлением о судьбах России, все находило во мне отзвук.

...«И дар божественных видений... и острый галльский смысл, и сумрачный германский гений».

В особенности дар божественных видений.

Меня нисколько не пугало, что «перед Европою пригожей... мы обернемся к вам своею азиатской рожей», не коробила «варварская лира» и все резкости этой необыкновенной евразийской поэмы, открывшей для меня целый мир пробуждающегося Востока.

Ведь я был солдат, настоящий фронтовик, и меня было трудно чем-нибудь запугать, в особенности революцией. Солдаты любили революцию. Она была для них желанным избавлением от войны. В этом было мое преимущество перед Буниным, который до ужаса боялся и ненавидел солдат и матросов, совершавших величайшую в истории человечества Октябрьскую революцию; они все казались ему на одно лицо: тупые, жестокие, озверевшие от крови, разнузданные, не революционеры, а бунтовщики, погубители России.

Я же, проживший вместе с ними на войне почти два года, вместе с ними искавший и кормивший вшей, евшей и учивший некоторых из них грамоте и даже читавший им в мокрой землянке под Сморгонью во время передышек между боями Гоголя и Толстого — чуть ли даже не «Анну Каренину», которая им, кстати, очень нравилась, — лежавший вместе с ними то раненый, то отравленный газами в полевых лазаретах на гнилой соломе, знавший все их самые сокровенные крестьянские, совершенно справедливые, мечты о земле, о свободе, о всеобщем мире, о свержении ненавистного дома Романовых, об уничтожении помещиков, кулаков и капиталистов, о грядущей революции и вполне сочувствующий этим мечтам, хотя они и не имели к моей личной судьбе прямого отношения — как мне тогда казалось! — я совсем не боялся этих людей — вовсе не жестоких и вовсе не кровожадных, а простых, добрых, хороших и справедливых русских крестьян и рабочих, измученных и доведенных до крайности преступной войной и вековой несправедливостью.

Это была настоящая Россия, а не та, которую выдумал Бунин, поддавшийся постыдному страху перед революцией, — ужасу, свойственному многим русским интеллигентам того времени.

Невольно вспоминалась мне автобиографическая заметка, написанная за два года до революции, где Бунин писал: «На первых порах чего только, наряду с похвалами моему художеству, не наслушался я! Иные унижались даже до того, что говорили, что я был просто испуган революцией, как помещик (каковым на самом деле я отроду не был)...»

Увы, как это ни больно, но теперь мне стало совершенно ясно, что Бунин именно испугался революции. Я думаю, в этом страхе перед революцией была главная трагедия Бунина, которую я наблюдал в годы, о которых пишу.

— Вы, конечно, не согласны со мной относительно «Скифов» и «Двенадцати»? — сказал он резко. — Боюсь, что вы, как и многие молодые люди вашего возраста и положения, ваши друзья,

вступили на неверный, скользкий путь, который увлечет вас в пропасть...— Он снова пронзительно посмотрел мне прямо в глаза и усмехнулся.— Однако, господа, если начинать, то пора начинать.— И с этими словами он из боковой двери поднялся по лестничке на эстраду, сухо поклонился в ответ на легкие аплодисменты, затем уселся за шаткий столик, вынул из портфеля журнальный оттиск «Снов Чанга», взглянул на часы и, уже больше ни разу не посмотрев в полупустой освещенный зал, превосходно, четким, хорошо разносившимся голосом с великолепной дикцией прочел от доски до доски свой замечательный (тоже симфонический) рассказ, начинавшийся удивительными фразами, прозвучавшими, как траурные музыкальные аккорды:

«Не все ли равно, про кого говорить? Заслуживает того каждый из живших на земле. Некогда Чанг узнал мир и капитана, своего хозяина, с которым соединилось его земное существование. И прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах. Вот опять была ночь — сон или действительность? — и опять наступает утро — действительность или сон?»

Казалось бы, что за дело было всем этим людям, сидящим в разгар революции в осажденном городе, в холодном полупустом и дурно освещенном зале, до судьбы опустившегося пьяницы-капитана и его собаки Чанга, купленной в «пыльный и холодный день на широкой китайской реке» и привезенной потом на пароходе в Одессу?

Однако они просидели, не шевелясь, все сорок пять минут чтения, замороженные музыкой этой картинной симфонической прозы с ее перепадами ритма, синкопами и фразами, подобными мрачным аккордам, взятым руками великого органиста:

«...и вдруг распахивается дверь костела — и ударяет в глаза и в сердце Чанга дивная, вся звучащая и поющая картина: перед Чангом полутемный готический чертог, красные звезды огней, целый лес тропических растений, высоко вознесенный на черный помост гроб из дуба, черная толпа народа, две дивные в своей мраморной красоте и глубоком трауре женщины,— точ-

но две сестры разных возрастов,— а надо всем этим — гул, громы, клир звонко вопиющих о какой-то скорбной радости ангелов, торжество, смятение, величие — и все собой покрывающие неземные песнопения. И дыбом становится вся шерсть на Чанге от боли и восторга перед этим звучащим видением...»

Звучащее видение!..

Лишь один раз, на миг, отвлеклись слушатели от «Снов Чанга», когда за окнами, в черной бездне осажденного города, послышалась короткая пулеметная очередь, взрыв ручной гранаты-лимонки и чей-то голос негромко произнес в середине зала:

— Господа, по-моему, это стреляют на Малой Арнаутской...

В эту ночь я провожал Бунина по темному, зловеще притихшему городу. Бунин был, как мне казалось, недоброжелательно молчалив. Желая его отвлечь от тяжелых мыслей, я все время делал попытки сказать ему что-нибудь особенно для него приятное.

— Иван Алексеевич, вас, вероятно, много переводили на иностранные языки?

— Боже мой!.. — раздраженно ответил он. — Ну, посудите сами: у меня, например, один рассказ начинается такой фразой: «На Фоминой неделе в ясный, чуть розовый вечер, в ту прелестную пору, когда...» Попробуйте-ка это сказать по-английски или по-французски, сохранить музыку русского языка, тонкость пейзажа... «В ту прелестную пору, когда...» Невозможно! А что я стою без этого? Нет, меня очень мало знают за границей... как, впрочем, и у нас в России, — с горечью прибавил он.

Как-то Бунин сказал мне, что если бы он был очень богат, то не стал бы жить на одном месте, заводить хозяйство, квартиру, библиотеку, гардероб, а путешествовал бы по всему земному шару, останавливаясь в хороших, комфортабельных гостиницах

и живя там столько, сколько живет, а как только надоест — отправлялся бы налегке в другое место: один-два чемодана с самым необходимым. Ничего лишнего. Грязную сорочку не отдавать в стирку, а просто выбрасывать, потому что гораздо интереснее и легче купить новую. Костюмы и ботинки — то же самое. В чемодане же — записные книжки, бумага и всякие мелочи, к которым привык.

— Вроде вашей пепельницы?

— Именно.

Он говорил в шутливом тоне, но, я думаю, в этом заключалась большая доля правды.

На меня производило впечатление, что Бунины всегда живут как бы на бивуаке, среди чужой мебели, чужих картин, драпри, посуды, ламп. Своего у них было лишь одежда, да постели, да пара плоских кожаных английских чемоданов с наклейками заграничных отелей.

Кстати, об этих наклейках.

Однажды Бунин на мой вопрос, к какому литературному направлению он себя причисляет, сказал:

— Ах, какой вздор все эти направления! Кем меня только не объявляли критики: и декадентом, и символистом, и мистиком, и реалистом, и неореалистом, и богоискателем, и натуралистом, да мало ли еще каких ярлыков на меня ни наклеивали, так что в конце концов я стал похож на сундук, совершивший кругосветное путешествие, — весь в пестрых, крикливых наклейках. А разве это хоть в малейшей степени может объяснить сущность меня как художника? Да ни в какой мере! Я — это я, единственный, неповторимый — как и каждый живущий на земле человек, — в чем и заключается самая суть вопроса. — Он посмотрел на меня искоса «по-чеховски». — И вас, милостивый государь, ждет такая же участь. Будете весь обклеены ярлыками, как чемодан. Попомните мое слово!

У него была полная возможность много раз уехать из опасной для него Одессы за границу, тем более что — как я уже

говорил — он был легок на подъем и любил скитаться по разным городам и странам. Однако в Одессе он застрял: не хотел сделаться эмигрантом, отрезанным ломтем; упрямо надеялся на чудо — на конец большевиков, погибель Советской власти и на возвращение в Москву под звон кремлевских колоколов. В какую? Вряд ли он это ясно представлял. В прежнюю, привычную Москву? Вероятно, поэтому он остался в Одессе, когда в девятнадцатом году, весной, она была занята частями Красной Армии и на несколько месяцев установилась Советская власть.

К этому времени Бунин был уже настолько скомпрометирован своими контрреволюционными взглядами, которых, кстати, не скрывал, что его могли без всяких разговоров расстрелять, и наверное бы расстреляли, если бы не его старинный друг одесский художник Нилус, живший в том же доме, где жили и Бунины, на чердаке, описанном в «Снах Чанга», не на простом чердаке, а на чердаке «теплом, благоухающем сигарой, устланном коврами, уставленном старинной мебелью, увешанном картинами и парчовыми тканями...»

Так вот, если бы этот самый Нилус не проявил бешеной энергии — телеграфировал в Москву Луначарскому, чуть ли не на коленях умолял председателя Одесского ревкома, — то еще неизвестно, чем бы кончилось дело.

Так или иначе, Нилус получил специальную, так называемую «охранную грамоту» на жизнь, имущество и личную неприкосновенность академика Бунина, которую и прикололи кнопками к лаковой, богатой двери особняка на Княжеской улице.

...К особняку подошел отряд вооруженных матросов и солдат особого отдела. Увидев в окно синие воротники и оранжевые распахнутые полушубки, Вера Николаевна бесшумно сползла вдоль стены вниз и потеряла сознание, а Бунин, резко стуча каблуками по натертому паркету, подошел к дверям, остановился на пороге как вкопанный, странно откинув назад вытянутые руки со сжатыми изо всех сил кулаками, и судороги пробежали по его побелевшему лицу с трясущейся бородкой и страшными глазами.

— Если хоть кто-нибудь осмелится перешагнуть порог моего дома... — не закричал, а как-то ужасно проскрежетал он, играя челюстями и обнажив желтоватые, крепкие, острые зубы, — то первому же человеку я собственными зубами перегрызу горло, и пусть меня потом убивают! Я не хочу больше жить!

Мне тут же вспомнились строки его стихов:

«...веди меня, вали под нож в единый мах — не то держись: зубами всех заем, не оторвут!»

И я ужаснулся.

Но все обошлось благополучно: особисты прочитали охранную грамоту с советской печатью и подписью, очень удивились, даже кто-то негромко матюкнулся по адресу ревкома, однако не захотели идти против решения священной для них Советской власти и молча удалились по притихшей, безлюдной улице мимо еще по-зимнему сухих стволов белой акации с грубой черносерой корой, в глубоких трещинах которой угадывалась нежная лубяная желтизна.

В продолжение всей этой сцены я смотрел на улицу в окно, так что между моими глазами и отрядом особистов находился большой наружный термометр с шариком ртути, в котором лучисто отражалось уже почти по-весеннему яркое, но все еще немного туманное солнце.

И вдруг я снова увидел и сразу узнал ее, ту самую девочку с дачи Ковалевского, которую описывал по совету Бунина пять лет назад.

Теперь ей было лет семнадцать; она стояла среди матросов и солдат, читая охранную грамоту, в распахнутом армейском полушубке и белом сибирском малахае, отодвинутом с оливково-смуглого, вспотевшего лба на затылок. Она держала в маленькой крепкой руке драгунскую винтовку, и ее зубы были стиснуты, подбородок выдавался вперед, как башмак, а на темном лице лунно светились узкие, злые и в то же время волшебнობольстительные глаза.

Наши взгляды встретились, и она погрозила мне — враж-

дебному ей, незнакомому молодому человеку, находящемуся в квартире контрреволюционера Бунина, — своей ладной короткой винтовочкой.

И мы снова ненадолго потеряли из виду друг друга, а жизнь, на миг превратившаяся в страницу Гюго, опять потекла своей чередой.

Удивительно, что когда вскоре я встретил ее снова, то узнал не сразу.

Начался трудовой, организационный период, — писал я по горячим следам событий в «Записках о гражданской войне».

«Всем оставшимся в городе новая власть большевиков предоставила право собираться и коллективно обсуждать устройство своей жизни. В большом, очень — как мне тогда представлялось — изящно отделанном зале так называемой «Литературки», где еще так недавно лакеи во фраках прислуживали эстетам в бархатных куртках и актрисам с разрисованными глазами, теперь стояли рыночные стулья и принесенные из дворницкой скамейки, на которых сидели взволнованные, выбитые из привычной колеи люди, главным образом беженцы с севера. Они должны были определить свое отношение к Советской власти, наконец-то настигшей их на берегу Черного моря».

«Бунин сидел в углу, опираясь подбородком о набалдашник толстой палки. Он был желт, зол и морщинист. Худая его шея, вылезшая из воротничка цветной накрахмаленной сорочки, туго пружинилась. Опухшие, словно заплаканные глаза смотрели пронзительно и свирепо. Он весь подергивался на месте и вертел шеей, словно ее давил воротничок. Он был наиболее неприимим. Несколько раз он вскакивал с места и сердито стучал палкой об пол».

Примерно то же самое впоследствии написал и Олеша.

«...Когда на собрании артистов, писателей, поэтов он стучал на нас, молодых, палкой и, уж безусловно, казался злым стариком».

ком, ему было всего лишь сорок два года. Но ведь он и действительно был тогда стариком! И мало того: именно злым, костяным стариком — дедом!»

Хотя Олеша и ошибся в возрасте Бунина, которому тогда было уже под пятьдесят, но важен не возраст, а впечатление от этого возраста. Оно совпадает и с моим впечатлением. Именно был тогда злой старик.

А мы, молодые, те самые, на которых он стучал тогда палкой, были Багрицкий, Олеша, я...

Про нас тогда говорили в городе с некоторым страхом, смешанным с удивлением:

— Эти трое!

Я продолжал бывать у Бунина, хотя было ясно, что наши дороги расходятся все дальше и дальше. Я продолжал его страстно любить. Не хочу прибавлять: как художника. Я любил его полностью, и как человека, как личность тоже. Я не чувствовал в его отношении к себе сколько-нибудь заметного охлаждения, хотя и заметил, что он все чаще и чаще очень пристально вглядывается в меня, как бы желая понять неясную для него душу современного молодого человека, зараженного революцией, прочесть самые его сокровенные мысли.

Он даже стал иногда как-то мелочно-придирчив, например, он заметил однажды, что я стал носить на руке в виде браслета золотую цепочку с какой-то висюлькой.

Нахмурился.

— Что это за фатовство? Вы не барышня, чтобы носить золотой браслет.

— Он совсем не золотой, — сказал я, — а медный, позолоченный, дутый.

— Тем более. Настоящий золотой — это еще туда-сюда. А дутый, да еще и фальшивого золота — совсем пошло. Запомните: человек должен пользоваться и украшаться — если уж он решил украшаться! — только настоящим, подлинным... Ни-

чего поддельного, фальшивого! А что это болтается на нем за штучка?

— Это осколок, который у меня извлекли из верхней трети бедра,— сказал я не без хвастовства, но все же покраснев до корней волос.

Бунин взял мою руку и опустил себе на ладонь острый обрывок меди с вдавленной трехзначной цифрой — кусочек центрующего пояска немецкого снаряда, который мог — попади он в голову—в один миг прекратить мою жизнь; внимательно осмотрел осколок со всех сторон и спросил:

— Это сидело в вашем теле?

— Да, в верхней трети бедра,— повторил я с удовольствием.

— Ну, так и носили бы его на простой стальной цепочке. Это было бы гораздо лучше. А дутое американское золото не достойно вашего настоящего,— подчеркнул он,— осколка. Оно только унижает его. Как это было? Только не сочиняйте.

— Меня подбросило, а когда я очнулся, то одним глазом увидел лежащую под щекой землю, а сверху на меня падали комья и летела пыль и от очень близкого взрыва едко пахло как бы жженым целлулоидным гребешком.

— Ну, носите на здоровье, если вам хочется казаться богаче, чем вы есть на самом деле,— подумав, сказал Бунин.

Было знойное лето, пустынный, вымерший город, закрытые лавки, молчаливый рынок, где приезжие мужики торопливо обменивали муку на городские вещи. Отсутствовали табак и спички.

Я принес Бунину большое увеличительное стекло, вынутое из желтого соснового ящика Афонской панорамы. Эта панорама, купленная во время нашего путешествия за границу, считалась очень ценной вещью и стояла на третьем месте после маминого пианино и стенных столовых часов с боем, выигранных некогда в лотерею-аллегри.

Круглое увеличительное стекло, вделанное в крышку ящика с латунным крючком, волшебным образом приближало выпукло увеличен-

ные, по-литографски яркие открытки, крупнозернистые изображения знаменитой мечети Айя-София с пиками минаретов по углам или старинного кладбища в Скутари с беломраморными столбиками мусульманских надгробий и почти черными кипарисами на фоне лубочного, сплошь ультрамаринового неба без единого облачка.

Я завернул волшебное стекло в лист самой лучшей своей бумаги, на которой написал следующий мадригал:

«Ивану Бунину при посылке ему увеличительного стекла.

Примите от меня, учитель, сие волшебное стекло, дабы, сведя в свою обитель животворящее тепло, наперекор судьбе упрямой минуя «спичечный вопрос», от солнца б зажигали прямо табак душистых папирос.

В дни революций и тревоги и уравниения в правах одни языческие боги еще дарили в небесах. Но вот, благодаренье небу, настала очередь богам. Довольно Вы служили Фебу, пускай же Феб послужит Вам».

Оставив без внимания мою стилизацию, Бунин скрутил самодельную папиросу из остатков скверного черного табака, взяв стекло и навел на кончик самокрутки пучок солнечных лучей, бивших в пыльное окно из города, охваченного мертвой тишиной.

В жгуче суженном до размера точки кружочке фокуса появился седой дымок — как будто бы где-то далеко в степи загорелась сухая скирда соломы, — и Бунин стал курить, подставив под папиросу знакомую пепельницу, которая на этот раз показала мне не так ярко начищенной самоварной мазью, как в былые дни.

— Благодарствуйте, — сказал Бунин, пожимая мне руку. — Вы меня выручили. Ваш должник!

Осенью опять переменилась власть. Город заняли денкинцы. И вот однажды темным, дождливым городским утром — таким парижским! — я прочитал Бунину свой последний, только что тщательно выправленный и переписанный набело рассказ

об одном молодом человеке — на этот раз я его из чувства упрямства сделал студентом, который вроде пушкинского Германа был игрок, одержимый манией во что бы то ни стало выиграть в карты много денег, в то время как другой молодой человек — его я из чувства все того же упрямства и противоречия сделал актером маленького бульварного театра миниатюр — завидует студенту и даже хочет его убить из револьвера, но не убивает по чистой случайности, причем все это разворачивается, разумеется, при участии обольстительной балерины, на фоне доживающего свои последние дни, разлагающегося, обреченного буржуазного города, осажденного Красной Армией. Как я сейчас понимаю, главная ценность рассказа заключалась именно в передаче ощущения социальной обреченности накануне революционного восстания, когда на окраинах, в рабочих кварталах, подпольщики достают спрятанное оружие и «новый день, обозначившийся светлой полосой за черными фабричными трубами, был последним днем Вавилона».

Бунин молча слушал, облокотившись на лаковый столик, и я со страхом ожидал на его лице признаков раздражения или — чего доброго — прямой злости. Но его глаза были утомленно сужены, устремлены куда-то вдаль, будто он и впрямь видел над по-верхарновски черными фабричными трубами кровавый, революционный рассвет, — и вся его фигура, даже ослабленные пальцы руки, в которых он держал дымящуюся папиросу над медной чашкой пепельницы, выражали глубокое огорчение, почти нескрываемую боль.

— Я здесь пытался применить ваш принцип симфонической прозы, — сказал я, окончив чтение.

Он взглянул на меня и сказал с горечью, как бы отвечая на свои мысли:

— Ну что ж. Этого следовало ожидать. Я уже здесь не вижу себя. Вы уходите от меня к Леониду Андрееву. Но скажите: неужели вы бы смогли — как ваш герой — убить человека для того, чтобы завладеть его бумажником?

— Я — нет. Но мой персонаж...

— Неправда! — резко сказал Бунин, почти крикнул: — Не

сваливайте на свой персонаж! Каждый персонаж это и есть сам писатель.

— Позвольте! Но Раскольников...

— Ага! Я так и знал, что вы сейчас назовете это имя! Голый молодой человек с топором под пиджачком. И кто знает, что переживал Достоевский, сочиняя его, этого самого своего Раскольникова. Одна фамилия чего стоит! Я думаю, — тихо сказал Бунин, — в эти минуты Достоевский сам был Раскольниковым. Ненавижу вашего Достоевского! — вдруг со страстью воскликнул он. — Омерзительный писатель со всеми своими нагромождениями, ужасающей неряшливостью какого-то нарочитого, противоестественного, выдуманного языка, которым никогда никто не говорил и не говорит, с назойливыми, утомительными повторениями, длиннотами, косноязычием... Он все время хватает вас за уши и тычет, тычет, тычет носом в эту невозможную, придуманную им мерзость, какую-то душевную блевотину. А кроме того, как это все манерно, надуманно, неестественно. Легенда о великом инквизиторе! — воскликнул Бунин с выражением гадливости и захохотал. — Вот откуда пошло все то, что случилось с Россией: декадентство, модернизм, революция, молодые люди, подобные вам, до мозга костей зараженные достоевщиной, — без пути в жизни, растерянные, душевно и физически искалеченные войной, не знающие, куда девать свои силы, способности, свои подчас недюжинные, даже громадные таланты... Ах, да что говорить! — Он с отчаянием махнул рукой.

Может быть, он первый в мире заговорил о потерянном поколении.

Но наше русское — мое — поколение не было потерянним. Оно не погибло, хотя и могло погибнуть. Война его искалечила, но Великая Революция спасла и вылечила. Какой бы я ни был, я обязан своей жизнью и своим творчеством Революции. Только ей одной.

Я сын Революции. Может быть, и плохой сын. Но все равно сын.

Это были последние месяцы перед нашей разлукой навсегда. Вот некоторые мысли Бунина того времени, поразившие меня своей необщепринятостью:

— Вы знаете, при всей его гениальности, Лев Толстой не всегда безупречен как художник. Есть у него много сырого, лишнего. Мне хочется в один прекрасный день взять, например, его «Анну Каренину» и заново ее переписать. Не написать по-своему, а именно переписать — если будет позволено так выразиться, — переписать набело, убрав все длинноты, кое-что опустить, кое-где сделав фразы более точными, изящными, но, разумеется, нигде не прибавляя от себя ни одной буквы, оставив все толстовское в полной неприкосновенности. Может быть, я это когда-нибудь сделаю, разумеется, как опыт, исключительно для себя, не для печати. Хотя глубоко убежден, что отредактированный таким образом Толстой — не каким-нибудь Страховым, а настоящим, большим художником — будет читаться еще с большим удовольствием и приобретет дополнительно тех читателей, которые не всегда могут осилить его романы именно в силу их недостаточной стилистической обработки.

Можно себе представить, какую бурю самых противоречивых чувств вызывали в моей слабой, молодой душе подобные мысли, высказанные моим учителем очень простым, даже обыденным тоном, лишенным какой бы то ни было рисовки или желания, как тогда любили выражаться — «эпатировать», но с той несокрушимой силой внутреннего убеждения, которая действует еще сильнее, чем сама истина.

Подобным образом говорить о Достоевском и Толстом! Это сводило меня с ума. Но... Почему бы в конце концов и нет? Я уже и тогда подозревал, что самое драгоценное качество художника — это полная, абсолютная, бесстрашная независимость своих суждений. Ведь в конце концов тот же самый великий Лев Толстой совершенно спокойно, не считаясь ни с чем, подверг уничтожающей критике самого Шекспира, взявши под сомнение не только ценность его мыслей, но и просто-напросто высмеяв его как весьма посредственного — точнее, никуда не годного — сочинителя. А что сделал Толстой с Вагнером, с со-

временными французскими поэтами, с великими Бодлером, Верленом!.. Уму непостижимо. Он даже и до Пушкина добирался в конце своей жизни. Добирался, добирался!

Ну и что?

Толстой остался Толстым, Шекспир Шекспиром, Вагнер Вагнером, Бодлер Бодлером. Все осталось на своем месте. Даже такому великану, как Лев Толстой, не удалось поколебать мировые струны.

Но это я понял гораздо позже, когда окреп сердцем и разумом. А в те дни со сладким ужасом слушал я слова моего учителя.

На мой вопрос о Скрябине, о его новаторской музыке, о его попытках каким-то образом соединить звук и цвет, о его странной оркестровке и небывалом контрапункте Бунин отозвался примерно так:

— Скрябин?.. Гм... Вы хотите знать, что такое Скрябин и что из себя представляет его музыка, например, «Поэма экстаза»? Могу вам рассказать. Представьте себе Большой зал Московской консерватории. Сияние люстр. Овальные портреты великих композиторов, громадный орган и перед ним симфонический оркестр — скрипки, пюпитры, ослепительные пластроны и белые галстуки музыкантов, каждый из которых в своей области знаменитость. Публика — самая изысканная: великие московские знатоки и ценители музыки, курсистки, профессора, артисты, богачи, первые красавицы, офицеры, — цвет московской интеллигенции. Легкий озноб ожидания. Зал наэлектризован. Сдержанное нетерпение доходит до высшей точки, но вот, вскинув фалды фрака, дирижер взмахнул палочкой — и началась знаменитая симфония — последнее, самое революционное слово современной модернистской, декадентской музыки. Ну-с... как бы вам описать эту симфонию наиболее популярно? Попробую. Итак, «ударили в смычки». Кто в лес, кто по дрова. Но пока еще более или менее общепринято, как и подобает в стенах знаменитой Московской консерватории. И вдруг совершенно

неожиданно отчаяннейшим образом взвизгивает скрипка, как поросенок, которого режут: «И-и-ихх! И-и-ихх!» — При этом Бунин сделал злое лицо и, не стесняясь, завизжал на всю квартиру. — А потом взвился истошный, раздирающий вопль трубы...

— Иоанн, ты совершенно обезумел! — с ужасом воскликнула Вера Николаевна, вбегая в комнату и затыкая уши мизинцами.

— Это я популярно объясняю, что такое «Поэма экстаза» Скрябина, — сухо сказал Бунин, устремив на меня пронзительный взгляд. — А вы, конечно, в восторге от «новой музыки», как и подобает молодому современному поэту, поклоннику Достоевского и Леонида Андреева?

— Я никогда не слышал симфонических вещей Скрябина, но фортепьянные мне очень нравятся, — сказал я, желая быть независимым. (Я даже собирался писать рассказ, где главное действующее лицо играет прелюдию Скрябина...)

Но, взглянув на Бунина, на ядовитое выражение его геморроидального лица, неуверенно добавил:

— Но, конечно, можно, чтобы мой герой играл Грига...

— А может быть, Чайковского? — спросил Бунин с непонятной интонацией.

— Можно, конечно, и Чайковского, — сказал я.

— Вот-вот, — как-то вскользь радостным голосом бросил Бунин. — Григ или Чайковский, грустная природа Левитана, мягкий юмор Чехова... Героиня, разумеется, бывшая актриса. Желтые листья. Одиночество. Акварельные краски...

И вдруг неожиданно:

— Андерсена любите?

— Н... да.

— Я так и предполагал. Вера, оказывается, он любит Андерсена. Теперь пошла мода на Андерсена. Или даже на Александра Грина. Так вот, когда будете писать свой рассказ, то, кроме Грига, Чайковского, Левитана и Чехова, не забудьте Андерсена: упомяните бедного оловянного солдатика, обуглившуюся бумажную розу или что-нибудь подобное, если удастся, присоедините к этому какого-нибудь гриновского капитана

с трубкой и пинтой персиковой настойки — и успех у интеллигентных провинциальных дам среднего возраста обеспечен. О нет, вы напрасно улыбаетесь, милостивый государь. Именно эти дамы — поклонницы Грина и Грига — делают писателю славу, создают репутацию романтика, почти классика. Поверьте травленому литературному волку. Вы еще меня вспомняете не раз. Ах, — вдруг сказал он без всякой видимой связи, — да в этом ли дело? Самое главное — научиться писать просто.

— Вы ли пишете не просто? — воскликнул я.

— Нет, не то. Не так. А совсем, понимаете ли, совсем, совсем просто. Уж чтобы проще некуда! Существительное, глагол, точка, ну — может быть! — самое необходимое придаточное предложение, по-детски ясное. Как басня. Как молитва. Как сказка. Случилось соловью на шум их прилететь. Ворона видит сыр, ворону сыр пленил. А может быть, и так: «Сказка о Козе».

И начал как-то зловеще, таинственно, глухо:

— «Это волчьи глаза или звезды — в стволах на краю перелеска? Полночь, поздняя осень, мороз. Голый дуб надомной весь трепещет от звездного блеска, под ногою сухое хрустит серебро. Затвердели, как камень, тропинки, за лето набитые. Ты одна, ты одна, страшной сказки осенней Коза! Расцветают, горят на железном морозе несытые Волчьи, божьи глаза».

Здесь, конечно, тоже была простота, но совсем не та, о которой только что говорил Бунин: не басня или молитва, не сказка, а нечто вроде притчи. Скорее всего видение. О Козе и Волке. Коза и Волк с большой буквы. Страшное пророческое видение — притча, написанная серебром на черно-вороненом, уже почти зимнем небе: голый дуб, трепещущий от звездного блеска, и под ним одна, одна, совершенно одна, до ужаса одна отбившаяся в эту морозную полночь коза: старая, со впалыми жесткими боками, русская нищая коза с мудрым, иссохшим, истерзанным лицом Ивана Бунина, с исплуканными глазами великомученицы и в то же время великой грешницы, блудницы, не имеющей силы отвести взоров от карающих божьих глаз, кото-

рые расцветают, грозно горят на железном морозе, словно глаза какого-то древнего, мерцающего инеем волка-оборотня, и этот поджарый, щелкающий желтыми зубами волк есть в то же время как бы еще одно новое воплощение все того же Бунина — одновременно и Козы с глазами будды, и Волка, и жертвы, и узкобородого палача в длинной до земли кавалерийской шинели, и дьявола, и бога.

Самое ужасное заключалось в том, что я постепенно терял контроль над своим уходящим сознанием, погружаясь в тяжелый, призрачный мир неопикуемых сновидений, чувствуя лишь свинцовое гудение крови, разогретой до сорокаградусной температуры по Цельсию, — по очереди превращался то в Козу, то в Волка, бредущих друг за другом по набитым тропинкам, затвердевшим на морозе, словно камень.

Меня крупно знобило, морозило от полярной стужи, не падал зуб на зуб, предсмертная тошнота подступала к горлу, и ни капли тепла не было вокруг, как в брошенном стальном бронепоезде — среди бесконечных пространств, среди этих тонких, негреющих, госпитальных одеял навсегда замерзшего Ледовитого океана, над которым переливалась стеклярусом толстая короткая занавеска северного сияния, еще более усиливая стужу, и в глаза мне смотрела остановившаяся прямо надо мной голая электрическая лампочка Полярной звезды, — смотрела, смотрела, смотрела и никак не могла насмотреться на меня своим убивающим взглядом слабого накала.

Меня посещали пророческие видения, которые я тут же навсегда забывал, но одно из них все-таки оставило слабый след в моей памяти.

...человек, который, задыхаясь, бежал по каменным, раскаленным дворам монастыря Чойжин-ламы, одного из самых жестоких и грозных лам, носившего титул государственного оракула. Некогда Чойжин-лама обратился к маньчжурскому императору с просьбой дать имя его монастырю и получил название

«Дарующий благоденствие», которое теперь было начертано на щите у входа в главный храм на маньчжурском, монгольском, китайском и тибетском языках.

Его преследовали. Он вбежал в храм, покрытый снаружи и внутри изображениями отрезанных человеческих голов и внутренних органов, висящих на разноцветных шелковых лентах. Эти изображения символизировали врагов религии и были призваны показать, что такая участь ждет неверующих и еретиков в загробной жизни.

Человек этот был Революционер и бежал из Города, временно захваченного Восставшими Ламами. Он надеялся спастись в храме, спрятавшись за сиденьем левого ряда, где во время богослужения находился один из высших Лам — халибо-лама, а перед ним были разложены предметы культа: колокольчики, бубны, литавры, барабаны, трубы, раковины и стальной молитвенный жезл очир, дающий жрецу силу и власть над человеческой жизнью. Вокруг были изображения рая, а также горячего и холодного ада с голыми фигурами терзаемых грешников. Три громадные коралловые маски, изображающие ужасного бога Жамсарана с разинутой пастью, смотрели на спрятавшегося человека зияющими глазницами, а так как человек, пробегая в тесноте храма, задел плечом бронзовый гонг, то в воздухе волнами плыл приглушенный гул, колебля синеватые дымки тонких и длинных ароматических свечек, время от времени роняющих сизый пепел на серебряные подносы.

Затем послышался топот ног, обутых в монгольские сапоги, в храм вбежали Враги и схватили человека, уцепившегося обеими руками за небольшую позолоченную статую женщины — будды с обольстительно тонкой талией, скользящей улыбкой тонких козьих губ, коварно опущенными веками и стройными ногами, скрещенными таким образом, что их узкие позолоченные подошвы были каким-то образом повернуты вверх, к небу.

Человек бросился на пол. Но его схватили, поволокли, прижали к синему столбу с золотыми разводами, и бритоголовый

Лама, скрипнув зубами, выхватил из-за пояса китайский пастушеский нож в сандаловых ножнах, выложенных мягким серебром, с треском вонзил узкое лезвие с глубоким желобком в грудь Революционера, просунул в багрово-красное, как бы раскаленное устье раны-цветка свою мускулистую, обнаженную до плеча руку борца и вырвал сердце, а распростертый труп человека отбросил ногой прочь с дороги, как падаль.

И этот труп Человека был Я, и это мое сердце привязали шелковым китайским шнурком к знамени контрреволюционного восстания, и оно полетело над всадниками, над развевающимися гривами лошадей, сбивавших копытами головки желтого мака, над острыми вершинами Хинганского хребта, над пустыней Гоби, где жарко свистел шелковый китайский ветер.

...Я лежал посреди раскаленного монастырского двора с вырванным сердцем, и на меня смотрели маленькие бронзовые львы, похожие на лягушат, сплошь покрытых зелеными улитками шерсти, над курильницами плыл угарный дым сухих трав, и желтая карета Богдо-Гэгэна промелькнула меж красных золоченых столбов монастырских ворот с тяжелой, но стройной черепичной крышей, с поднятыми кверху углами, увешанными безмолвными колокольчиками. И в тот же миг я превратился в того железного, грубо сваренного колченогого человека с мучительно вывернутыми, воздетыми вверх обрубками рук и рваной дырой посередине прямоугольного туловища, которого я однажды — сорок лет тому вперед — вдруг увидел посреди кирпичных развалин взорванного фашистами Роттердама, и чайки мрачного Северного моря с отчаянными криками пролетали туда и назад сквозь брешь в моей груди, где некогда билось сердце...

О, если бы кто-нибудь знал, какая мука быть железным человеком-городом с вырванным сердцем, обреченным на вечную неподвижность и безмолвие на своем бетонном цоколе, и в то же время быть распростертым на льдине с мертвыми открытыми глазами, в которых отражается маленькая Полярная звезда.

И когда я уже не мог больше сопротивляться этой муке и готов был навсегда погрузиться в ледяную прорубь, в ту неизмеримую глубину, где по ледяному коридору в сказочно-зеленой воде двигался сигарообразный «Наутилус» и капитан Немо, скрестив на груди руки, судорожно вдыхал последние капли кислорода, меня начинали посещать божественные видения такой небесной красоты, что останавливалось бедное земное время и начиналось какое-то иное, высшее время, как бы навсегда сделавшее мое тело нетленным.

Я испытывал какой-то душевный восторг — «Поэму экстаза» — с высоким воплем трубы, взлетевшим над глухим шепотом скрипок, — достигший своей высшей мыслимой грани, высшего блаженства и там остановившийся навсегда.

Иногда я как бы всплывал на поверхность и начинал ощущать — хотя и очень слабо — свое истощенное, обессиленное тело, покрытое тонким лазаретным одеялом, пропускавшим поллярный холод.

Ко мне частично возвращались чувства, и я слышал устойчивый запах йодоформа и карболки, делавший то странное пространство, среди которого я находился, похожим на непомерно громадный запущенный вокзал — некую сыпнотифозную Жмеринку моих военных кошмаров, — наполненный бетонным гулом, хаосом ручного багажа, из которого вдруг вблизи от меня появлялись знакомые фигуры отца в стареньком демисезонном пальто и каких-то пестрых старушечьих варежках и младшего брата Жени — будущего Евгения Петрова — в съеденном молью верблюжьем башлыке. Они стояли передо мной, в отчаянии опустив руки, и я видел слезы, которые текли по щекам и поседевшей бороде отца, и темные глаза Жени, полные боли, жалости и ужаса.

Я понимал, что они думают, будто я умираю, вот-вот, сию минуту на их глазах кончусь, а может быть, уже умер и тело мое костенеет, и в то же время всей своей пробуждающейся,

ликующей душой я уже знал наверняка, что кризис прошел благополучно и что я теперь буду жить, жить, жить, очень долго, может быть даже вечно, и чувствовал начавшийся прилив жизни, но только ничего не мог им сказать, даже улыбнуться...

Я слышал их как бы очень удаленные, слабые голоса, повторявшие мое имя, но, кроме этого, я еще слышал гораздо более отдаленные военные звуки, каким-то образом дававшие мне понятие о положении в городе, о последних часах его Осады и об эвакуации, воплотившейся в обнаженный лес паровозных гудков.

Наверное, в тот час навсегда покидал родину мой Бунин!

И я снова погрузился в глубину счастливых сновидений, а когда однажды проснулся, то по разным признакам понял, что вокруг меня уже началась какая-то совсем новая жизнь, и молодые поэты писали на чем попало: на оборотной стороне периодической таблицы Менделеева, разрезанной для удобства на прямоугольнички; на листах бледно-розовой тончайшей бумаги старого мира — так называемой аптекарской, поразительно непрочной, не способной пережить эпоху, почти невесомой, распадающейся в руках, как пепел; или на плотных, устойчивых страницах, выданных из тюремной книги, куда — при старом режиме — вносились денежные поступления для арестантов и где четко чернели на не успевавшей еще пожелтеть бумаге печатные графы: «Порядковый номер», «Фамилия, имя, отчество», «Сумма руб. и коп.», «На какой предмет», «Разрешено или отказано». Книга эта после взятия города конницей Котовского и разгрома тюремного замка вместе со всем его архивом попала на рынок и была продана «на писчую бумагу».

Теперь — больше сорока лет тому вперед — я перебирал (или перебираю?) обветшалые листки с ломко-осыпающимися краями, как бы сожженными серной кислотой времени.

Стихи, правду сказать, были так же плохи, как и тогда, но кусочки бумаги, на которых они были нацарапаны, хранили следы моего еще не вполне определившегося почерка, вероятно, так же, как кора головного мозга хранит отпечатки всех впечат-

лений жизни под надежной охраной механизма памяти, ключом к которому наука еще не овладела.

То, что было тогда «тому вперед», теперь стало «тому назад».

Рассматривая и перебирая эти чудом уцелевшие в моих папках полуистлевшие бумажки, я как бы на ощупь прокладывал путь сквозь безмолвные области подсознательного в темные хранилища омертвевших сновидений, стараясь их оживить, и сила моего воображения оказалась так велика, что я вдруг с поразительной, почти осязаемой достоверностью и ясностью увидел внутренность тесной мазаной хаты, на две трети заваленной желтой душистой соломой, и закопченное устье вымазанной мелом печи с закругленными углами, что делало ее похожей на портал маленькой театральной сцены, в глубине которой разыгрывалась феерия какого-то пожара, тревожно освещающая фигуру единственной зрительницы — девушки в домотканой юбке, выкрашенной луковой шелухой.

Она сидела на скамеечке перед печкой и грубой, но хорошенькой ручкой щипала кудель. На конце ссученной шерстяной нитки, танцуя и крутясь, но не доставая на волосок мазаного глиняного пола, висело серое веретено. А босая девичья нога с очень короткими пальчиками и совсем уже короткими, еле прорезавшимися ноготками прилежно нажимала на рейку, и порхающий ветерок дул в лицо от крутящегося колеса.

Старуха иногда слезала задом с печки и, присев на корточки перед печью, запихивала в устье громадные охапки соломы, с трудом обхватывая их черными руками.

Солома быстро совершала цикл сгорания.

Сначала она ненадолго обволакивалась молочно-белым опаловым дымом, который сочился сквозь пористое тело соломенной охапки, через мгновение вспыхивала, охваченная со всех сторон чистым золотом пламени, в котором был как бы сосредоточен и сохранен весь нестерпимый зной июльского полевого полудня, обжигающего лицо своим сухим целебным дыханием, и сейчас же, вдруг, делалась угрюмой, маково-красной; затем

темнела, становясь маково-черной мрачной, как бумажный пепел, и после этого глубина печки скучно пустела, как сцена театра с убранными декорациями и таким громадным пустым полом, словно там никогда ничего не представляли.

Тесная хата, еще совсем недавно наполненная жаром и светом, вдруг сразу, без перехода, делалась могильно-темной, холодной, выстуженной так, что молодой человек, разложивший свои листки на выскобленном столе перед крошечным окошечком, не без труда разбирал собственный почерк.

Этот молодой человек — совсем еще на вид юноша — был я.

Вернее сказать, он мог быть мною, если бы я обладал силой воскресить себя того, давнего, молодого... Но так как у меня нет этой волшебной силы, то сейчас, когда пишутся эти строчки, я могу считать его лишь некоторым своим подобием, несовершенным воплощением моего теперешнего представления обо мне самом того времени — если время вообще существует, что еще не доказано! — времени, оставившего единственный материальный след в виде ветхих листков бумаги, исписанной дрянным карандашом номер четвертый, который не писал, а скорее царапал.

Меня того, прежнего, юного, уже нет. Я не сохранился. Карандаш исписался. А плохие стихи, нацарапанные на бумаге, легкой, как пепел, — вот они! — остались. Разве это не чудо?

«Пшеничным калачом заплетена коса вокруг милой головы моей уездной музыки, в ком сочетается неяркая краса крестьянской девушки с холодностью медузы».

«С ней зимним вечером вдвоем не скучно нам: кудахчет колесо взволнованной наседкой и тени быстрых спиц летают по углам, крылами хлопая под визг и ропот редкий».

«О чем нам говорить? Я думаю, курия, она молчит, глядит, как в окна лепит — вьюга. Все тяжелей дышать. И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга».

Эти стансы, сочиненные в духе так называемой «южнорус-

ской школы», чрезвычайно нравились самому автору, в особенности то место, где «сочетается неяркая краса крестьянской девушки с холодностью медузы». Приведенные строки должны были дать представление о широком лице и о крупных, как бы немного студенистых, ничего не выражающих — лиловатых — глазах цвета хорошо известной мне черноморской медузы или — если угодно — головы Медузы Горгоны, что также соответствовало немного мифологическому стилю того романтического времени.

Если бы мне сейчас пришлось описывать глаза этой хорошенькой деревенской таракуцки¹ — впрочем, зачем? — то я скорее всего сравнил бы их с бараньими глазами врубелевского Пана, тем более что, сколько помнится, в окошке виднелся рожок желтого месяца, но это не меняло дела: стихи все равно никуда не годились, как подавляющее большинство описательных стихов, и, в сущности, были сочинены ради двух последних строчек — безусловно лживых, так как поздняя заря еще никогда не находила поэта и его сельскую музу в объятиях друг друга: невинная девушка обычно спала на печке вместе со старухой, а стихотворец устраивался на сухом глиняном полу под столом на рядне, на остатках сухого куриного помета и соломы, положив под голову полевую походную сумку с рукописями и укрывшись латанным-перелатанным бараньим кожухом, который удалось выменять в Балте на базаре за почти новую трофейную английскую шинель, полученную в хозяйственном отделе губревкома по записке С. Ингулова.

Стихи, по расчету молодого человека, должны были произвести сильнейшее впечатление на одну гражданку, с которой он познакомился незадолго до отъезда в командировку, не успев начать с ней романа, даже как следует ее не рассмотрев, но решив наверстать упущенное сейчас же после возвращения в город.

¹ Таракуцка — это маленькая высушенная тыквочка, которой обычно играли на Украине деревенские дети. Этим же словом в шутку называли хорошенькую, круглолицую девушку. (Прим. автора.)

Пишу «гражданка» потому, что в то легендарное время до-революционные слова вроде «барышня» или «мадемуазель» были упразднены, а слово «девушка» как обращение к девушке, впоследствии введенное в повседневный обиход Маяковским, еще тогда не вошло в моду и оставалось чисто литературным. Сказать же «молодая особа» было слишком в духе Диккенса, старомодно, а потому смешно и даже непристойно. «Красавица» — еще более смешно. «Дама» — оскорбительно-насмешливо. Оставалось «гражданка» — что вполне соответствовало духу времени, так как напоминало «Боги жаждут» Анатоля Франса, книгу, которая вместе с «Девяносто третьим годом» Гюго — за неимением советских революционных романов — была нашей настольной книгой, откуда мы черпали всю революционную романтику, эстетику и терминологию.

Теперь я бы просто сказал «девушка», тогда же можно было сказать только «гражданка», в крайнем случае «молодая гражданка» — не иначе!

...А под тип таракудки она не подходила...

Я — или, вернее, он — предвкушал день, когда вдруг появлюсь в «коллективе поэтов» или на эстраде в «зале депеш» Югорсты — возмужавший, обветренный, полный впечатлений, слегка ироничный, совсем не сентиментальный, пусть даже грубый — и швырну на стол, покрытый кумачом, сверток новых стихов и начну их читать наизусть — конечно, нараспев! — разумеется, не все стихи, а только самые лучшие. Сначала одно или два. А потом по настойчивым требованиям восторженной, но бесплатной аудитории и все остальное: двенадцать лирических стихотворений, довольно длинную революционную поэму, написанную белым пятистопным ямбом, несколько старых сонетов из цикла «Железо», но, конечно, в первую очередь:

«...И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга».

Не следует думать, что я — или, если вам угодно, тот молодой человек — находился в творческой командировке в деревне.

Новорожденная Советская республика посылала своих поэтов в командировки совсем другого рода.

Он был командирован отделением Югросты с мандатом ревкома в один из самых глухих уездов, имея задание на вербовать для ежедневных бюллетеней как можно больше волостных и сельских корреспондентов. Для этой цели ему были выданы заранее заготовленные бланки с печатями, куда оставалось лишь вписать фамилию завербованного корреспондента — «волкора» или «селькора» — и вручить ему небольшую печатную инструкцию с перечислением всех его прав и обязанностей.

Прав было маловато, зато обязанностей вагон, как тогда любили выражаться, и в первую голову — обязанность бесстрашно бороться со всеми злоупотреблениями местных властей и нарушениями священной революционной законности.

Именно этот пункт первый означенной инструкции и спас мою жизнь — или, если угодно, жизнь героя этой повести, — о чем будет своевременно рассказано на этих страницах.

В мандате же, выданном ревкомом, предлагалось всем без исключения лицам, учреждениям и воинским частям оказывать всемерное содействие предъявителю сего, имеющему право пользоваться всеми без исключения видами транспорта до аэропланов, мотодрезин, воинских эшелонов и паровозов включительно.

На практике командированные пользовались преимущественно подводами, которые со страшной неохотой наряжали местные власти, замученные гужевой повинностью.

Я дал ему свою телесную оболочку и живую душу, но имени своего давать не захотел, опасаясь сделаться чем-то вроде человека без тени.

Я назвал его Рюрик Пчелкин. Чем не имя для русского молодого человека, рожденного в конце девятнадцатого века, совсем перед революцией, когда вдруг неизвестно почему в моду вошли изысканные великокняжеские: Игорь, Глеб, Олег, Рюрик, Святослав?

После этого я вздохнул с облегчением, отныне переложив все свои заботы на чужие плечи.

Рюрик Пчелкин целыми днями трясся на подводе по уезду, заезжая в волостные правления, где предъявлял свой мандат, и председатель волысполкома определял его на постой в какую-нибудь хату, куда его и водворял сотский, предварительно постучав в окошечко бузиновым батогом, символом своей власти.

— Эй, хозяйка, принимай уполномоченного!

— А, чтоб вам повылазило! Чего вы до меня приченились? Хиба не можно поставить человека у кого-нибудь другого?

— Не можно: очередь вашей хаты.

— Батьке вашему так.

После чего, постояв некоторое время перед дверью на вросшем в землю плоском ноздреватом камне, Пчелкин нажимал пальцем железную щеколду, неуверенно переступал через порог и входил в темные сени, а затем на ощупь в еще более темную хату, где остро пахло куриными перьями, сухой глиной и пшеничной половиой.

Когда же глаза его после яркого вечернего света на улице наконец привыкали ко тьме, то он видел перед собою старуху в клетчатой понёве и степенно снимал кепку с наголо остриженной бледно-голубой головы, стараясь произвести впечатление человека самостоятельного, понимающего толк в деревенском обращении. Скромно пряча глаза, он размашисто крестился на икону, а затем преувеличенно низко кланялся хозяйке.

— А сам, наверное, в бога не веришь? — спрашивала не без иронии старуха.

— Верю, бабушка.

— Ну и брешешь, седай на скамейку. Здесь будешь спать.

— Покорно вас благодарю.

— Смотрите, какой цикавый! Ему еще сидеть у мамки под юбкой, а он уже ездит уполномоченным. Вы, извиняйте, по какому делу уполномоченный? Если забирать хлеб по разверстке, то опоздали. Уже все. Чисто. А если по самогону, то не гоним, не занимаемся этим делом.

— Нет, я журналист.

Старуха с презрением собирала морщинистые губы на манер того, как затягивают на тесемочку кисет.

— Канцелярский, значит?

И никак невозможно было объяснить ей, что такое журналист.

А тем временем с печки, осторожно переставляя босые пятки по уступам припечки, уже спускалась, прижимая к груди полированную миску с горкой голубого мака, сгорающая от любопытства хорошенькая таракуцка, делая вид, что ничуть не интересуется молоденьким цикавеньким уполномоченным, и на ее круглом лице, вымазанном огуречным рассолом, возле телесно-розового ротика прилипло к тугой пунцовой щеке белое огуречное семечко.

Примерно так было в каждой деревне, где Пчелкин с большим удовольствием останавливался на день или два, а случалось, даже и на три, по принципу: «сколько хватит вашей совести».

Там после городской голодовки он вволю отъедался серым пшеничным калачом, соленым свиным салом, нарезанным кубиками, квашеными зелеными помидорами, кулешом, мамалыгой и прочей грубой, но сытной деревенской едой, которой угощали его женщины, в конце концов примирившись с постояльцем, порядочно-таки отощавшим в губернском центре, где люди жили по карточкам, имевшим скорее символическое значение, так как по ним почти ничего не выдавалось.

...Вскоре после взятия Перекопа...

Может быть, хозяева-мужчины не так ласково обходились бы с ним, но одинокого уполномоченного по неписаному закону староста почти всегда посылал в хату какой-нибудь вдовы, солдатки или старухи, скучавшей без мужского общества, так что в смысле кормежки командировка в деревню отчасти напоминала теперешнюю путевку в дом отдыха.

По тому же неписаному закону, если командированный задерживался в хате на несколько лишних дней, то помогал женщинам по хозяйству, справляя какую-нибудь мужскую работу, — словом, ел хозяйский хлеб не даром.

Пчелкин не обладал достаточной физической силой и, как человек вполне городской, не привык к физическому труду, так что от него хозяйкам было мало пользы, однако он никогда не отказывался от работы, даже сам напрашивался на нее, чувствуя неловкость за свое дармоедство, и рад был поковыряться вилами в сухих табачных пластах старого навоза или перетасать на спине в плетеную клуню два-три не слишком тяжелых мешка с отрубями или кукурузными початками. Спасибо и за то!

Он был миловиден, черноглаз, а его наголо остриженная голова внушала сердобольным женщинам мысль, что он недавно переболел сыпным тифом, и они жалели его, кормили и даже иногда снабжали темно-зелеными, наждачно-жесткими листьями самосада, который он тонко нарезал перочинным ножом, и с удовольствием курил самокрутки, иногда употребляя вместо бумаги тонкие кукурузные листья. Он не оставался в долгу. У него в походной сумке всегда находился небольшой запасец иголок в черных конвертиках, катушки две ниток номер сороковой, дюжина перламутровых пуговиц на серебряной картонке и прочая дешевая галантерея, приобретенная на одесском базаре специально для товарообмена. Это научное слово теперь уже давно вышло из моды и осталось лишь в учебниках, но тогда оно было осью, вокруг которой вращалась вся экономика.

Гражданин получал на работе паяк, часть его менял на предметы, годные в свою очередь для обмена с деревней, совершая этот обмен на продукты сельского хозяйства, которые частью потреблял для поддержания своей жизни, частью менял на другие предметы первой необходимости, превращенные в свою очередь все на том же рынке в другие не менее необходимые предметы, пользуясь законами спроса и предложения, колебаниями цен и прочими тонкостями политической экономики

эпохи военного коммунизма, и так далее до тех пор, пока товар окончательно не уничтожился, и человек, затянув потуже пояс, терпеливо ожидал выдачи нового месячного пайка или же нес на рынок что-нибудь из предметов домашнего обихода.

В деревне же этот самый товарообмен шел куда веселее, чем в городе, где человека обдирали как липку всяческие посредники, спекулянты и барышники, и давал — выражаясь научно — гораздо более высокий процент прибыли на основной капитал.

Одним словом, если, как выразился Маяковский, «мы диалектику учили не по Гегелю», то экономику мы усваивали далеко не по Марксу.

Не следует, однако, думать, что командировки в деревню представляли одно сплошное наслаждение. Отнюдь нет. Они были очень опасны. Уезды кишели недобитыми остатками деникинцев, врангелевцев, петлюровцев, махновцев, бандами различных батак: Заболотного, Зеленого, Ангела, даже какой-то Маруськи Никифоровой, — которые хозяйничали по глухим дорогам, нападали на удаленные сельсоветы, забирали подводы, лошадей, убивали продармейцев, сельских коммунистов, различных инструкторов губревкома, а потом и губисполкома, посылавшихся из центра для организации расширения посевной площади, что было решительно необходимо, так как отовсюду поступали сведения о зловещих признаках надвигающегося неурожайного, голодного года.

Банды срывали работы по восстановлению народного хозяйства, сеяли смуту. Их было трудно искоренить. Действуя вдоль границы, они в случае необходимости легко переправлялись через Днестр и укрывались в королевской Румынии.

Командировку в деревню можно было без преувеличений приравнять к отправке на фронт, на самые передовые позиции.

В подобной обстановке и протекала деятельность молодого инструктора Югросты, забиравшегося вербовать своих корреспондентов в такие глухие углы, что если бы его там уложила какая-нибудь банда, то вряд ли об этом кто-нибудь узнал.

А ведь никакого оружия, кроме карандаша, ему не полагалось, и в критическом случае он мог рассчитывать на свое красноречие, резвость ног либо на чудо.

Командировка приближалась к концу. Оставалось объехать две-три волости и можно было возвращаться в центр.

Корреспонденты вербовались главным образом из деревенской интеллигенции: волостных писарей и сельских учителей, таких же зеленых юнцов, как он сам, едва окончивших учительскую семинарию и уже успевших побывать на войне в звании вольноопределяющихся второго разряда, а затем и прапорщиками, которых преследовала по пятам оскорбительная поговорка: «Курица не птица, прапорщик не офицер».

На первый взгляд дело обстояло просто: поговорить по душам с хорошим человеком, сверстником, может быть даже фронтовым товарищем, в два счета его разagitировать, вручить служебное удостоверение с круглой советской печатью с серпом, молотом и колосьями, выдать печатную инструкцию и ехать себе помаленьку дальше, зевая по сторонам и сочиняя в уме стихи, которые так приятно было потом записывать вечером на ночлеге под кудахтанье прялки, при свете сальной плашки — каганца — или даже лучины, с которой отваливались лентообразные угольки и, шипя, гасли в подставленном корыте с водой.

Боже мой, я еще помню лучину! А ведь только что по телевизору с нашего искусственного спутника передавали панораму Луны!

Однако не все учителя и писари охотно соглашались стать советскими корреспондентами; кое-кого приходилось долго уговаривать; некоторые же довольно решительно, хотя и мягко отказывались под разными благовидными предложениями вроде того, что не слишком образованные, не решаются выступать в печати, боясь осрамиться, и опасаются, как бы из этого — откровенно говоря — не вышло какой-нибудь неприятности, а какой — понимай как знаешь.

Подчас от подобных намеков Пчелкину делалось не по себе и хотелось поскорее выбиться из этой глуши, где пропадешь ни за полушку — сгинешь без следа и никто не узнает, что ты погиб как герой за молодую Советскую власть!

В отличие от прошлых разов, когда он ехал на подводе один, теперь заведующий транспортным отделом уездного исполкома в целях экономии тягловых средств присоединил Пчелкина к некоему товарищу, отправлявшемуся по командировке из центра на рессорной бричке в глубинные волости уезда с целью там агитировать за расширение посевной площади и борьбы с кулацким влиянием на середняков и незаможников, что значит по-украински бедняков.

Кажется, его послал на село все тот же неугомонный Сергей Ингулов.

Товарищ сидел в кабинете председателя уисполкома — стол, покрытый плюшевой малиновой скатертью, графин с пожелтевшей водой, полоскательница и лопнувший стакан, — уткнувшись в развернутые листы московского иллюстрированного журнала «Безбожник» под редакцией бывшего нашего же одесского большевика Емельяна Ярославского, так что его лицо скрывалось за небывалой графикой художника со странным, зловещим даже несколько, псевдонимом Моор. Это были карикатуры, изображавшие самого бога Саваофа в водевильном, старомодном пенсне, но с круглым сияньем над лысой головой, затем — равнина в пейзажах, с черно-полосатым талесом на плечах, рядом с ним мулла в чалме, похожей на головку чеснока, и наконец нашего православного батюшку с пьяными глазками и земляничкой носа, и стихи первого пролетарского поэта Демьяна Бедного — кощунство, к которому тогда еще не все привыкли, казавшееся настолько чудовищным, что не было бы ничего удивительного, если бы вдруг разверзлись небеса и оттуда из черной тучи упала зигзагообразная, ослепительно белая молния, в один миг испепелив безбожный журнал вместе с редактором, карикатуристами, стихотворцем и всеми годовыми подписчиками.

Почувствовав на себе посторонний взгляд, товарищ опустил

журнал, и вдруг оказалось, он — священник с узкой бородкой, длинным носом, слегка побитым оспой, и дерзкими петушинными глазами под высокомерно вздернутыми, изломанными бровями пророка. Стальное пенсне с черным шнурком, заложенным за ухо, под длинные патлы, сидело на носу, прижимая его своими пробочками, значительно ниже, чем полагается, и это придавало его лицу нечто вызывающее.

— Нуте-с, молодой человек, — произнес он в нос, — так это, стало быть, вас подсудобили мне в компанионы? Хотя я, видите ли, и предпочитаю путешествовать без попутчиков, так сказать соло, но поскольку наша молодая Советская власть еще не имеет достаточных средств, чтобы предоставить каждому своему гражданину отдельную подводу, то я не возражаю, чтобы вы воспользовались местом в моем драндулете. Однако предупреждаю: не переносу, чтобы меня стесняли, и если вы будете вертеться на сиденье и напирать на меня сбоку, а в особенности донимать меня дорожной болтовней, то я немедленно попрошу вас покинуть драндулет и продолжать свой путь по образу пешего хождения.

Оказалось, это тот самый «красный поп», о котором Пчелкин уже слышал и который теперь добровольно отправлялся в глубинные волости агитировать за увеличение посевных площадей. Но, кроме этого, у него была еще и другая цель, неизвестная центру: он был проповедником идей новой, революционно-христианской церкви, недавно созданной им самим в своем воображении, и теперь решил воспользоваться своей командировкой для того, чтобы совершить некий религиозный переворот, свергнуть всю российскую церковную иерархию сверху донизу, от могучих князей церкви до местных деревенских батюшек, погрязших — по его мнению — во всяческих мирских сквернах, и водрузить на развалинах ниспровергнутой им старой церкви знамя нового, чисто мистического христианства, основанного им.

Ехать с ним на одной бричке было истинной мукой.

Он оказался человеком мнительным, капризным, крайне самонадеянным, с уязвленным самолюбием, необыкновенно высо-

кого мнения о своей личности, которую при старом режиме не сумели оценить официальные властители русской православной церкви, все эти «консисторские крысы», вечно его затиравшие и строившие всяческие козни, не желая рукоположить его в сан архиерея. Сам же он считал себя избранником бога, воинствующим апостолом с огненным мечом в руке.

Багровой краснотой своей длинной шершавой шеи он напоминал индюка.

Всю дорогу, как только тронулись, он не переставая говорил и спорил, придираясь к каждому слову и даже междометию своего спутника. Выведав окольными путями, что молодой человек поэт, он стал ядовито высмеивать новую поэзию и живопись, называя картины импрессионистов и барбизонцев яичницей с луком, а Врубеля и Чюрлёниса, перед которыми молодой человек преклонялся, — «художниками от слова «худо», причем всем своим длинным костлявым телом напирал на попутчика, который чудом удерживался на краю сиденья, испытывая боль от железных перильцев, впившихся в его зад.

Когда же священник стал поносить Маяковского, говоря, что «ему медведь наступил на ухо», то ли дело поэт Апухтин, молодой человек не выдержал и закричал на всю степь, что он сам ни уха ни рыла не смыслит в искусстве, а является самым отъявленным консерватором и контрреволюционером, что подобным типам не место в новом, коммунистическом сегодня и что он больше не желает находиться в его обществе.

С этими словами Пчелкин выскочил из брички и некоторое время с яростной независимостью шел по дороге, изо всех сил стуча своими военными башмаками с отваливающейся подошвой по чугунно-твердым колеям и грудкам замерзшей дороги, среди таких же замерзших полей, несмотря на конец зимы, совершенно лишенных снежного покрова, кое-где зеленеющих чахлыми озимыми, страшными своей злобещей обнаженностью и чернотой, сулящих неурожайный год, быть может прямой голод.

Он сразу же разбил себе ноги в кровь и принужден был сесть обратно, сделав вид, что ничего не произошло. Так повторялось несколько раз, в особенности же бурная сцена разыгра-

лась, когда священник назвал Бунина жалким декадентиком, потому что у него в одном стихотворении говорится, что, дескать, «заплакали чибисы», а затем — «на пашнях — лиловая грязь».

— Декадентская чепухенция! Как это могут птицы плакать, и что это за, изволите ли видеть, лиловая грязь. Где это вы видели лиловую грязь? Надуманно, вычурно, модернисто-с!

— Но ведь он классик, классик! — кричал Пчелкин чуть не плача. — И я не позволю так говорить об академике. Наконец, я сам его ученик.

— Оно и видно, что ученик. Лиловая грязь! Ха-ха-ха!

Когда к вечеру наконец добрались до ночлега, Пчелкин наконец отказался продолжать дальнейший путь вместе с ним и устроился на ночь отдельно.

По селу сразу пролетел слух, что из центра приехал весьма грозный «красный поп» и будет завтра, в воскресенье, служить в местной церкви обедню и произнесет проповедь. Почему-то все это очень встревожило селян.

Придя утром в церковь посмотреть, что там делается, Пчелкин увидел своего попутчика на амвоне в пасхальной глазетовой ризе — ветхой и все же весьма нарядной своей мерцающей белизной, — с крестом в костлявой руке, простертой над праздничными платками испуганных старух, стоявших в первом ряду.

Местный батюшка, добрый старичок, стоял рядом, не зная, куда девать детские коротенькие ручки, и, сконфуженно потупясь, смотрел то вниз на свои ноги в разношенных мужицких сапогах со следами засохшего навоза, то вверх на всевидящее око в лучистом треугольнике, грубо написанное в куполе доморощенным живописцем на фоне полинявшей синьки звездного неба, посреди которого на куче облаков, и сам отчасти напоминающая кучевое облако, восседал кудлатый старик Саваоф, сердито прислушиваясь к тому, что говорил внизу приезжий протонерей.

А он сначала говорил о расширении посевных площадей, все больше и больше раскалялся и вдруг, неожиданно взглянув на местного батюшку, как петух на зерно, без малейшей паузы сел на своего любимого конька и понес, не стесняясь в выражениях,

разоблачать ненавистных ему князей так называемой святой, так называемой православной, так называемой равноапостольской церкви.

— Разве это апостолы! — кричал он, все больше и больше распаляясь. — У апостолов Христовых были чаши деревянные, зато головы золотые, а у этих, извините за выражение, апостолов-самозванцев чаши золотые, да головы деревянные!

И он выразительно постучал костяшками пальцев по перилам амвона, а потом показал наперстным крестом на съезжившего местного батюшку:

— Чревоугодник, пьяница, прелюбодей!

При последнем слове попадья в черном шелковом платье, стоявшая посередине, перед самым амвоном на почетном месте, сначала побледнела, а потом пошла красными пятнами, заметалась, но бабы ее успокоили, а мужики в праздничных, белых, очень длинных бараньих кожных с черными воротниками или еще в армейских походных шинелях с пожелтевшими, обдранными полами — хохлы и молдаване, — недавно воротившиеся домой после разгрома барона Врангеля и войны с польскими паннами, стояли молча, угрюмо свесив усы, и Пчелкину показалось, что в воздухе вдруг пролетело — дуновение не дуновение, тень не тень, — а нечто до того страшное, что у него невольно ослабели ноги, и он, ежась под отчужденными взглядами, выбрался на паперть и побрел к себе на квартиру.

На рассвете его разбудил негромкий, но настойчивый стук в окошечко. Это был молодой учитель, вчера завербованный в волкеры.

— Коллега, — проговорил он шепотом, — что я вам скажу. Не тратьте времени, а лучше езжайте отсюда, пока не поздно. Я вам достал у добрых людей подводу, она вас довезет до соседней волости, а отсюдова тикайте. Тикайте и тикайте.

В голосе своего коллеги Пчелкин уловил нечто такое, что с ног до головы прохватило его ознобом, тем самым дуновением смерти, которое он так явственно ощутил днем в церкви.

В те времена люди научились понимать друг друга не только с полуслова, но даже с полувзгляда, полувздоха, с полумолчания.

Пчелкин схватил под мышку сумку с бумагами и через минуту, подпрыгивая на голых досках подводы, куда не успели впопыхах постелить соломы, уже катил по твердому шляху, идущему под изволок. Стало развидняться. Потом совсем развиднелось. День был холодный, сухой, хмурый. Вокруг простиралась черная смерзшаяся земля с копнами старой соломы и ветряными мельницами, махавшими своими крыльями на горизонте, как будто куда-то бежали.

Успокоившись и осмотревшись, Пчелкин по своей привычке начал складывать в уме стихотворение на тему окружающей его природы. На этот раз он олицетворил ее:

«...И, распустив стремительную косу, в рубашке из сурового холста, бежит Весна в полях необозримых, и ядовитой зеленью озимых за ней горит степная чернота».

Бегущая босиком Весна была все тем же вариантом хорошенькой таракуцки, «уездной музыки», и не вполне отвечала душевной тревоге, которая все никак не могла рассеяться, хотя зловеющая колокольня деревенской церкви уже давно скрылась за кособором.

Он вспомнил, как в деревенских окошках теплились огоньки свечей и как истово молились в церкви старухи, прося у бога снега на поля. Это более соответствовало его душевному состоянию.

«...Когда в селе перед весною просили снега на хлеба, цвела молебственной свечою недаром каждая изба. О том, чтоб минула засуха, в надежде темный лоб крестья, молилась каждая старуха, крестилось каждое дитя...»

Уже стихи запели, как скрипка, но вдруг на дороге как изпод земли вырос конный отряд и преградил путь. Сначала Пчел-

кину показалось, что это эскадрон красной кавалерии, и он даже успел порадоваться, как хорошо стали у нас обмундировывать красноармейцев: один в одного, с новенькими звездочками на фуражках.

Но в тот же миг над ним заржала, вздернутая на трензелях, лошадиная голова, роняя травянисто-зеленую пену, и красавец командир в белом башлыке с позументом за спиной наклонился к Пчелкину с седла:

— Ты кто таков, мать-перемать? Уполномоченный?

— Я журналист.

— А ну, канцелярская крыса, гать с подводы!

— Журналист — это совсем не то, что вы думаете, — с насильственной улыбкой прошептал Пчелкин.

— А ты скедова знаешь, что я думаю?

— Я пишу в газете.

— В газете? А ну, хлопцы, дайте ему под зад. Смотри на него: распоряжается у нас на селе все равно, как у себя в хате. Чуть чего — давай ему подводу.

— Товарищ, это недоразумение. Я имею право. У меня мандат ревкома.

— Смотрите, найшелся живой товарищ. Ах ты, краснозадая гнида! Отведите его в кукурузу, а подвода нехай заворачивает обратно.

Все это произошло в одно мгновение, и теперь, вдруг очутившись среди несрезанных стеблей прошлогодней кукурузы, которые тесно стояли вокруг него, шелестя жесткими мечевидными листьями и сузив горизонт до двух шагов в окружности, Пчелкин понял, что попал в руки банды, переодетой в красноармейскую форму, и что его ведут расстреливать, грубо подталкивая в спину прикладами драгунок, резко пахнувших керосином и оружейным маслом.

Ужас охватил его душу, помрачил рассудок, а его тело ослабело, внутренние органы перестали повиноваться приказам нервных центров, парализованных внезапной спазмой, и он вдруг стал постыдно и неудержимо испражняться, в то время

как атаман банды, подбоченясь в седле с бархатным комбриговским чепраком, вынимал из поданной ему сумки бумаги Пчелкина и равнодушно читал их одну за другой по складам, пока вдруг не наткнулся на печатную инструкцию; она его заинтересовала, так как в ней содержался пункт первый о борьбе со всеми злоупотреблениями местных советских властей и нарушениями законности.

Как ни странно, но именно это и спасло Пчелкина.

— Почекайте, хлопцы, — сказал атаман. — Сначала посмотрите, чи он не жид, и если нет, то отпустите его ко всем чертям. И нехай он больше не суется, куда не треба, и не попадаетеся нам на глаза.

Весьма быстро и грубо удостоверясь, что Пчелкин не иудей, хлопцы сунули ему в руки сумку с бумагами, дали коленом под зад и, крикнув: «Бежи, студент!» — для остратки пустили ему вдогонку две или три пули, нежно просвистевших над головой и унесшихся по крутой траектории в зловеще нахмуренное мартовское утреннее небо.

Любая из этих остроконечных, конических пуль могла ошибиться и ударить в его голову, разнести ее вдребезги и навсегда уничтожить тот божественный мир любви, красоты и поэзии, который и был тем, что называлось единственной, неповторимой, драгоценной человеческой жизнью Пчелкина со всеми стихами — своими и чужими, уже родившимися и еще не рожденными или только что им понятыми, — как, например, волшебные сумасшедшие строки Велемира Хлебникова и Николая Бурлюка:

«И вот плывет между созвездий, волнуясь черными ужами, лицо отмищенья и возмездий, глава отрублена ножами... О призрак прелести во тьме! Царица, равная чуме!.. Нет, ведро на коромысле не коснулось плеча. Кудри длинные повисли точно звуки скрипача».

Только подобные безумные строки могли возникнуть в мозгу в миг насильственной смерти!

«Мы воду пьем — кто из стакана, а кто прильнув к струе устами, среди весеннего тумана, идя полночными берегами. Не видно звезд, но сумрак светел, упав в серебряные стены. В полях наездницы не встретил, лишь находил обрывки пены. Но сквозь туман вдруг слышу шепот и вижу, как, колебля иву, струя весны, забывши ропот, несет разметанную гриву...»

Только на волосок от уничтожения навсегда среди черных замерзших полей своей дикой родины могли пронестись в памяти Пчелкина божественные звуки:

«С легким вздохом тихим шагом через сумрак смутных дней по равнинам и оврагам древней родины моей, по ее лесным цветам, по невспаханным полям, по шуршащим очеретам, по ручьям и по болотам каждый вечер ходит кто-то, утомленный и больной, в голубых глазах дремота греет вещей теплотой. И в плаще ночей широко плещет, плещет на реке, оставляя ненароком след копыта на песке».

Я описываю природу — звезды, лес, мороз, море, горы, ветер, разных людей. Это все мои краски. Но разве литература, поэзия, созданная гением человека, не является частью природы? Почему же я не могу пользоваться ею, ее светящимися красками, тем более что звезды мне еще нужно воплотить в слово, обработать, а стихи гениальных сумасшедших поэтов уже воплощены, готовы — бери их как часть вечной природы и вставляй в свою собственную прозу!..

...со всеми его страстями, догадками, постоянной жаждой любви и нетерпеливым ожиданием возвращения в город и свидания с девушкой — «молодой гражданкой», — той самой, которая обещала ему блаженство...

Азраил, посланный по его душу, прошумел своими черными бумажно-пепельными крыльями, заметался зигзагами, подыма-

ясь то вверх, то падая вниз, как громадная гудящая оса, но промахнулся...

«Как я боялся! Как бежал! Но Эрмий сам внезапной тучей меня покрыл и вдаль умчал и спас от смерти неминуемой».

Пчелкин бежал, как заяц от охотников, спотыкаясь, и падая, а ломая палки кукурузных стеблей, лупивших его по голове, бежал, прижимая к груди сумку, на бегу приводя в порядок свою одежду, и драпал до тех пор, пока вдалеке не стих перестук подков удалявшегося на рысях бандитского отряда.

«След копыта на песке».

И в мире настала тишина. Он был жив, но его убитая душа лежала в поломанной кукурузе на чугунной земле в ожидании воскрешения, подобно тому как другая его душа, почерневшая от смерти, уже давно лежала на батарее под Сморгонью, и еще, еще одна душа мучительно расставалась с телом на койке сыпнотифозного госпиталя под звуки буддийских барабанов под священными ламаистскими письменами, похожими на таблицу элементов Менделеева.

И все они обязательно воскреснут, потому что они бессмертны.

Оставив свою распростертую душу валяться среди сухой кукурузы в ожидании воскрешения и ощущая в своем слабом теле рождение новой души, Пчелкин шагал среди черно-зеленых полей, обходя стороной деревни и хутора, стремясь поскорее добраться до уездного города, никому больше не попадаясь на глаза.

Двое суток он пробирался к Балте, старательно обходя населенные пункты, ночуя в скирдах соломы, белых от снега, в одиноких плетеных клунях на кочанах кукурузы с каменными янтарно-желтыми зернами, питаясь кормовой свеклой, случайно оставшейся в земле после уборки.

«Умывался ночью на дворе — твердь сияла грубыми звездами. Звездный луч, как соль на топоре, стынет бочка с полными краями... Тает в бочке, словно соль, звезда, и вода студеная чернее, чище смерть, соленее беда, и земля правдивей и страшнее».

Повторяя эти стихи Мандельштама, он брел один, под низким огромным небом, под сине-пороховыми тучами, которые ступались над его головой, становясь тяжелыми, как глыбы антрацита, каждый миг готовые обвалиться на Пчелкина.

И все это — как ни странно — казалось ему прекрасным, величественным, как произведение небывалого революционного искусства, полное божественного смысла и нечеловеческой красоты.

Бедняга от страха совсем сбрендил.

Дунуло лютым холодом. Посыпался снег. Началась завируха, смешавшая небо с землей. Он остановился, и ему представилось, что это, «нахмуря грозные брови, ужасным ликом посинев», сам бог Саваоф снизошел к мольбам людей и «отдал бурям на землю сеять белый сев...»

«А я в метели, я в тревоге, один перед тобою, бог, бесславно гибну на дороге среди занесенных дорог».

Здесь бог являлся всего лишь вариантом пушкинского Петра: «лик его ужасен. Движенья быстры. Он прекрасен, он весь, как божия гроза». Пчелкин обогатил ужасный лик чугунной синовой бури и व्यюгой, но зато бесславная гибель среди занесенных дорог и особенно белый сев снега звучали довольно самостоятельно.

Впоследствии — много лет тому вперед — я пришел к убеждению, что в России всегда был, есть и будет всего один-единственный бессмертный поэт, национальный гений, в разное время носящий разные имена.

И в наше время тоже. Их было на моей памяти несколько.

Даже будучи на грани уничтожения, мысль Пчелкина ни на один миг не могла избавиться от образа молодой женщины, «гражданки», ранившей его душу, и неподвижно преследуя его, не давая отдыха ни днем, ни ночью, как неустрашимая идея, утомляя его мозг своей близостью, подлинностью, почти осязаемостью, достоверностью прелестных подробностей, которые тем не менее не могли удовлетворить его жажды обладания, потому что он уже любил ее со всей страстью, а она — конечно — об этом даже и не догадывалась и скорей всего давно уже забыла его, так как они виделись всего лишь несколько раз мимолетно в суеде «зала депеш» и «коллектива поэтов» и за все время сказали друг другу всего лишь несколько десятков ничего не значащих слов.

И все-таки он ее любил — с каждым днем все сильнее, все отчаяннее, — а может быть, это ему только казалось? — но она стояла перед ним днем и ночью и в миг смерти, неустрашимая, страстно-желанная — в своей белой меховой шапке-малахае с очень длинными наушниками, которые лежали на ее груди, как две косы под пояс.

Когда она однажды сняла эту сибирскую шапку, то под ней оказалась как бы другая — черно-курчавая шапочка волос, которыми она встряхнула, так как они слежались.

Он уже забыл, как она была одета, кажется, на ней была солдатская стеганка с чересчур длинными рукавами, которые она подвернула, чтобы они не закрывали кисти ее маленьких смуглых рук с грубо остриженными пестро-мраморными ногтями, тонкую, но крепкую талию тесно обхватывал офицерский пояс с колечками, ветхая суконная юбка едва закрывала колени, ноги были в черных солдатских обмотках и почти детских башмаках на пуговицах.

Смуглое, землисто-матовое, прелестной красоты лицо с несколько мрачными, во всяком случае какими-то несговорчивыми глазами, с синей пороховинкой маленькой родинки на нежной щеке и смуглым пушком над бледными девичьими

губами — чувственными и вместе с тем обманчиво-невинными.

Он все время видел перед собой эти плавающие губы; они как бы все время приближались к его губам и длились, длились, длились во сне и наяву, как бесконечный поцелуй, не дающий удовлетворения.

Он увидел ее такой в первый раз. Потом ее внешность немного изменилась. Кажется, она успела зимой переболеть брюшным или возвратным тифом, и когда снова появилась в «зале депеш» — похудевшая — и сняла свою белую шапку с длинными наушниками, то оказалось, что ее голова острижена под ноль, как у пригостишки, и она вынулась из шапки, как орешек из скорлупы: небольшая пропорциональная голова с твердыми ушками, одно из которых было запачкано школьными чернилами, и белой, почти голубой кожей, просвечивающей сквозь неровные дорожки, грубо проложенные машинкой больничного цирюльника.

Было известно, что она работает машинисткой в административно-хозяйственном отделе губчека, посещает совпартшколу при губнаобразе и готовится поступить в Свердловский университет в Москве.

По-видимому, для того, чтобы расширить свои знания литературы, она усердно посещала «коллектив поэтов» и «зал депеш» Югорсты, где каждый день выступали пропагандисты и писатели. Она приходила одна и садилась впереди с независимым и несколько презрительным видом, как человек, принадлежащий к высшему классу, внимательно слушала рассказы и стихи, но никаких чувств не выражала.

— Гражданка, я замечаю вас здесь не первый раз, — обратился к ней однажды Пчелкин. — Вы, кажется, поклонница поэзии? Или, может быть, поэтов?

— Я здесь повышаю свое общее развитие, — ответила она.

— А оно нуждается в повышении?

— Конечно.

— А мои стихи вам нравятся? — сурово, но не без кокетства спросил он.

— Нравятся, — ответила она просто.

— Польщен. А я сам?

— Тоже.

Это признание сразу же разрушило его представление о ней как о местной Теруань де Мерикур, фурии революции, сухой партийке, презиравшей мелкобуржуазную богему и не признающей легкомысленного отношения к любви. Он был, однако, разочарован той легкостью, с которой она так явно пошла навстречу его заигрываниям, и он, зачислив ее в список своих поклонниц, потерял к ней значительную часть интереса. Победа показалась ему слишком легкой. Однако он от нее не отказался, а только отложил, желая продлить удовольствие сближения.

— Надеюсь, вы не поэтесса? — спросил он небрежно.

— Надейтесь, — ответила она, и как раз в этот миг он наконец заметил главную прелесть ее лица: маленькую подкожную пороховинку туманно-голубой родинки на смугловатой скуле, которая так шла к ее наголо стриженной голове, ничуть не делавшей ее похожей на мальчика, а, наоборот, еще больше подчеркивающей ее женственность.

— Возможно, мы с вами скоро увидимся, — небрежно сказал он.

— Я тоже так думаю, — ответила она, удивляясь, что он не предложил ее проводить.

— Салют и братство! — сказал он, подняв для приветствия руку над головой.

Она в ответ прощально улыбнулась.

Он чувствовал себя победителем, и, лишь проснувшись среди ночи в нетопленной комнате с алмазно-заиндевевшими обоями на железной кровати, вдруг понял, какого дурака он свалил. Его уже неотступно преследовали мысли о ней. Надо было не валить дурака, а ковать железо, пока горячо. Мысленно он уже с ней целовался, держа на весу ее легкую руку, и, опережая события, складывал стихи:

«Когда в моей руке, прелестна и легка, твоя рука дрожит, как гриф послушной скрипки, есть в сомкнутых губах настойчивость смычка, поющего пчелой над розою улыбки».

«Роза улыбки», конечно, была похищена из арсенала его друга Юрия Олеши.

Пчелкин видел эту бледную розу ее улыбки, а маленькая родинка выросла до размера плавающей над ней пчелы. Дурак! Вместо того, чтобы все это представлять, он мог наслаждаться вполне реально, осязаемо.

«О да, блажен поэт,— продолжал он сочинять в потемках ледяной комнаты с изморозью на подушке,— но мудрый, но не тот, который высчитал сердечные биенья и после написал, что «поцелуй поет», а тот, что не нашел для страсти выраженья».

Он не нашел для страсти словесного выражения и готов был, несмотря на глубокую ночь и осадное положение, бежать к ней, но он не только не знал ее адреса, но даже не поинтересовался, как ее зовут.

Он больше не мог заснуть. Он испытывал то чувство, которое великий русский поэт, носивший одно время в девятнадцатом веке имя Пушкин, определил с пугающей проницательностью: «душа тобой уязвлена»... Именно уязвлена. Его душа уже была уязвлена, отравлена. Она нарывала. Он ни о чем не мог думать, кроме как о ней. Она неустраимо стояла перед ним — с мерцающим, лунным светом своих узких белков,— завладев всеми его мыслями и желаньями. Он не представлял себе, как дотянет до следующей встречи. Но на другой день ему было приказано безотлагательно выехать в уезд. Ему и в голову не могло прийти отказаться, потому что любое служебное поручение в то время принималось как выполнение Священного Революционного Долга.

Сама Революция распоряжалась тогда судьбами людей.

...Он стоял среди метели, которая кружилась вокруг него, лепя мокрым снегом в лицо и застилая окрестности льющейся мутью поземки. Он шел всю ночь без дороги, наугад и на рас-свете очутился на задах какой-то деревни. Силы оставили его. Он готов был лечь под залепленный снегом плетень и заснуть мертвым сном. Уже почти ничего не соображая, он постучал в окошко, где светился огонек, его впустили, и он тотчас повалился как убитый на кучу сухих кукурузных листьев возле печки, дышавшей на него золотым жаром, а когда поздно утром проснулся, то весеннее вымытое небо синело в окошке, и оказалось, что он находится в нескольких верстах от Балты, которая блестела и мерцала в солнечном тумане, как слюда, всеми своими стеклами и церковными крестами.

Во дворе, среди навозных куч, ударивших в нос, как наша-тырь, сверкали зеркальные артерии ручейков, ослепляя привыкшие к темноте глаза, пахло мокрым черноземом и слышался отдаленный перезвон церковных колоколов.

Дойдя до околицы города, он увидел глазетовые хоругви странной церковной процессии, в которой участвовали красные знамена уездных учреждений, услышал церковное пенье, непонятным образом смешанное со звуками духового оркестра.

— Какой сегодня праздник? — спросил он бабу, которая несла на плече толстую мраморную плиту свиного сала, наполовину завернутую в чистую хустку.

— Це не праздник, — строго ответила она, — а це радянська власть вместе с церковью хоронят того самого красного попа — героя — и с ним еще чи трех, чи двух продармейцев, а также — кажут — ще якогось канцеляриста с города Одессы, что днями банда батьки Заболотного вбыла на селе Ожила. Хиба ж вы не чулы?

— Не чул, — не слыша собственного голоса, сказал Пчелкин.

— Как же! Налетели утречком скрозь переодетые красноармейцами, вытащили их всех из хат и тут же расстреляли, а сами тем же ходом до Днестра и обратно на ту сторону, в Румынию.

Над городом плыл похоронный звон — с томительно редкими промежутками тонкие колокола резко ударили ля бемоль, — слышалось надгробное пенье, смешанное с тактами духового оркестра, тяжелой отдышкой медных труб, толчками турецкого барабана, тянуло слащаво-металлическим дымком росного лада-на, а Пчелкин стоял, прижав к груди сумку со стихами, как бы присутствуя на собственных похоронах. Он не знал, что в одесских «Известиях» уже появилась телеграмма о гибели на боевом посту поэта-журналиста Пчелкина и что его отец, старик Пчелкин, остановившись возле щита с пропитанной клейстером свежей газетой и прочтя телеграмму, сначала сел на тротуар, делая руками плавательные движения, а потом лег, повернулся лицом к стене дома, поджал ноги, как бы желая удобнее поспать, и его приплюснутая, как блин, старая чиновничья фуражка без кокарды с пропотевшим кожаным ободком в середине свалилась с головы, открыв багрово-покрасневшую плешь, и ангел смерти, поспевший как раз вовремя, прошумев черными крыльями, быстро и почти безболезненно, как хороший дантист, вынул — не вынул, а скорее вывернул крупным поворотом окровавленной десницы — его душу, и его тело стало медленно, блаженно остывать и остывало до тех пор, пока не сравнялось с температурой окружающего воздуха и тротуара, выложенного голубыми плитками лавы — примерно около пятнадцати градусов выше нуля по Цельсию, и в дальнейшем перенимая температуру окружающей его среды — приемного покоя, городского морга, нетопленной пустой церкви и наконец кладбищенской земли, навалившейся на крышку дешевого лилового гроба, выданного бесплатно в коммунальном отделе его соседям...

И только тогда, на третий день после погребения, его сын — еще ничего не зная — вернулся из командировки и вдруг все узнал, ужаснулся и теперь с чувством ужаса перед бездной смерти, открывшейся перед ним, с чувством независимости, освобождения, щемящего душу сиротства и страстной запоздалой нежности к отцу стоял перед глиняным холмиком могилы, которая уже стала оседать и проваливаться под двумя или тре-

мя жалкими проволочными венками с бумажными цветами и серыми коленкоровыми лентами, с газетными буквами надписей, также бесплатно полученными в коммунальном отделе.

Рядом с этой новой могилой была старая могила с железным крестом «под березу», как бы сваренным из самоварных труб и раскрашенным под мрамор свитком, на котором масляной краской было написано черными печатными буквами нежное имя его матери.

Здесь же, покосившись в разные стороны, чернели совсем старые дубовые кресты над еле заметными холмиками бабушки и дедушки, которых Пчелкин не помнил. Мать он тоже почти не помнил, и в его представлении она была в шляпе с пером, с милым, но каким-то отвлеченно-строгим замерзшим лицом, и всегда казалось непостижимым, что после смерти она не уничтожилась, а до сих пор под землей в тесном гробу лежит тщательно одетая дама в корсете на китовом усе, с щеточкой на подоле длинного муарового платья, в атласных туфлях, сшитых на живую нитку, и с бумажной полоскою на ледяном лбу.

Он стоял один среди длинных игл новорожденной кладбищенской травы, растущей из-под земли, усыпанной седыми угольками панихиды, испытывая такую мучительную жалость и любовь, а главное, такую неискупимую вину перед отцом, которого, сам того не сознавая, убивал всей своей жизнью: корью, дифтеритом, скарлатиной, когда заплывал далеко в море, войной, где каждая пуля и каждый осколок, благополучно пролетавшие мимо сына, тысячу раз убивали отца неминуемо, ежедневно, — где ядовитый немецкий удушливый газ фосген травил его по ночам и одно лишь представление о хлорциане медленно разрушало его легкие, доводя до кровавого кашля... в то время, как он — его сын — ничего этого не понимал и жил как живет, редко думая о смерти, и десятки раз умирал, не жалея жизни, и в то же время упивался этой жизнью, неповторимым величием эпохи, в которую имел счастье родиться, — эпохи войн и Революций.

Потупив голову, он как бы видел сквозь слои желтой и черной земли четкий рисунок отцовского гроба с кистями по углам и неудобной, выкрашенной охрой крышкой с жестяными накладными «ветками Палестины» над белым запавшим лицом с почерневшими веками.

Он был один во всем этом мире, испытывая странное чувство освобождения, от которого захватывало дух и вместе с тем не только не давало желанной свободы, но, наоборот, приковывало к земле страшной силой такого горя, самую возможность которого он даже не мог себе раньше представить. Но все же это была свобода, и для того, чтобы она стала полным освобождением — совершенной идеальной свободой, — надо было освободиться от всего материального, что связывало его с отцом. От всего, кроме любви к нему. Любовь была неистребима.

Это был акт отчаяния, восторг самосожжения, когда в затхлой, запущенной маленькой комнатке отца, где даже обои еще как бы хранили разные сухие стариковские запахи, вдруг появились два старьевщика все еще в традиционных котелках, но уже в советских толстовках под лапсердаками, два выходца из-под обломков рухнувшего старого мира, и они стали оценивать имущество покойного, рассматривая на свет сильно поношенные, поредевшие суконные брюки, чесучовый пиджак, узконосые штиблеты на крючках с овальными, слоистыми протертостями до дыр на подметках, бросая их в кучу на разостланное рядом.

Пчелкин стоял, отчужденно прислонившись к двери, курил самокрутки, слезы текли по его юношеским щекам, жгучее наслаждение полной свободы, открывшейся перед ним, как пропасть, kloкотало в горле, и он неподвижно смотрел, как разные домашние вещи летели в кучу: гремящий шахматный ящик, пожелтевшие воротнички и манжеты «композиция», манишки, чернильница с высохшими мухами в середине, плюшевый фамильный альбом с латунными застешками, увеличенная фото-

графья матери в черной деревянной раме — да, да, и портрет матери тоже! Пусть у него ничего не останется! Пусть он вступит в новую жизнь, освобожденный от всех чувств и вещей!..

Здесь я расстаюсь с Пчелкиным...

«Кто может знать при слове — расставанье, какая нам разлука предстоит, что нам сулит петушье восклицанье, когда огонь в акрополе горит, и на заре какой-то новой жизни...»

И на заре какой-то новой жизни... И на заре какой-то новой жизни... И на заре какой-то новой жизни...

Чувствуя на себе любопытные, даже восхищенные взоры, я вышел на эстраду «зала депеш» и с торжеством бросил на стол сверток своих новых стихотворений. Я подошел к рампе и стал читать наизусть. Когда я дошел до строчки, на которую возлагал так много надежд:

«И поздняя заря находит нас опять в объятиях друг друга» —

то голос мой запел, как виолончель. Но я напрасно старался: ее не было в зале, она не пришла на мое выступление.

— Увы,— сказал мне за кулисами мой друг поэт Э.,— пока ты метался, как вялая листва, по уезду, вербуя сельских корреспондентов, и воевал с бандами, твоя возлюбленная прицепила тебе чайник. Она теперь гуляет с небезызвестным Петькой Соловьевым, который, несмотря на весь свой былой шик, скромно служит в губтрамоте, в поте лица трудясь над восстановлением городского транспорта.

При этом Э., пуская слюни сквозь дырку от выбитого переднего зуба и ядовито шипя, прочитал не вполне цензурную эпиграмму по поводу моего неудачного романа.

В этот же день я увидел ее на бульваре Фельдмана против клуба красных моряков. Она шла под руку с долговязым Петькой Соловьевым, которого я до сих пор знал больше понаслыш-

ке как одного из лучших теннисистов рিশельевской гимназии. Однако мне его приходилось видеть на гимназической спортивной площадке — красавца и щеголя — с золотым жетоном в виде теннисной ракетки, прицепленным ко второй пуговице его диагоналевой куртки. На войне он был тоннягой-артиллеристом. Теперь он шел в толстовке и сандалиях на деревянной подошве, держа под руку мою бывшую любовь и нежно к ней наклонившись. Она держала связку учебников и весело улыбалась, глядя на него снизу вверх своими темными узкими глазами, в глубине которых как бы таинственно мерцал лунный свет. Я обогнал их и сказал:

— Драссс...

— Драссс...— ответил, узнав меня, Петька и тонно приложил руку к старой артиллерийской фуражке без кокарды.

Она повернула ко мне лицо, продолжавшее сиять от счастья и любви.

— Салют и братство, гражданка! — сказал я, приветствуя ее поднятой рукой. — Ваше сердце оказалось непостоянным!

Она сузила глаза, нахмурилась, своенравно вздернула подбородок и вдруг совсем по-детски лукаво показала мне кончик языка, как бы желая этим сказать: проворонил! — и в ту же минуту я вдруг узнал ее.

Это была та самая девочка в матроске, которая некогда прошла мимо нас с Бунным по гравию на даче Ковалевского, а затем несколько лет спустя в группе матросов пыталась ворваться в особняк на Княжеской улице, а теперь училась в совпартшколе, та самая, которую я много лет тому вперед мимо-летно встречу в разные моменты своей жизни: сначала средних лет, потом пожилую и наконец совсем старую — среди мерцающих оленьих рогов уральской сорокаградусной зимы и разноцветных дымов, выползающих, как бараны, из целого леса магнитогорских труб.

Она отвернулась от меня, прижалась кудрявой головой к плечу Петьки Соловьева, и они, повернув за угол, где стоял гро-

мадный щит-плакат под Матисса работы художника Фазини — два революционных матроса в брюках клеш с маузерами на боку на фоне темно-синего моря с утюгами броненосцев — вошли в столовую ЕПО — Единого Потребительского Общества, — по всей вероятности, обедать по талонам, то есть съесть квадратную плитку сухой ячменной каши, политой сверху несколькими каплями зеленоватого машинного масла, и выпить кружку морковного чаю с двумя ландринками.

Жгучая страсть, ревность, тоска пронзили мгновенно мою душу, но так же быстро и прошли, уступив место другим страстям, другой любви.

Я потерял ее из виду, так и не узнав ее имени.

Что касается Петьки Соловьева, то он, будучи офицером, оказался замешанным в контрреволюционном заговоре, и я прочел его имя в списке расстрелянных, наклеенном на афишную тумбу. Быть может, это именно о нем какой-то тюремный остряк сочинил куплеты на мотив очень известной в то время сентиментальной песенки Вертинского «Три юных пажа покидали навеки свой берег родной».

«Три типа тюрьму покидали: эсер, офицер, биржевик. В глазах у них слезы сверкали, и где-то стучал грузовик».

(Тогда расстреливали в гараже.)

«Один выходил на свободу, удачно минуя гараж; он продал казенную соду и чей-то чужой экипаж. Другой про себя улыбался, когда его в лагерь вели; он сбытом купюр занимался от шумного света вдали. А третий был штабс-капитаном, он молча поехал в гараж, и там был наказан наганом за Врангеля и шпионаж. Кто хочет быть штабс-капитаном, тот может поехать в гараж!»

И все же меня мучило, что не знаю ее имени.

...Муравей, ползущий по цветку, не имеющему имени, переползает на мой подставленный палец, который для него, может быть, представляется продолжением цветка, потом он ползет по моей обнаженной, соленой от морской воды руке, пробирается в дебрях волосков, ощущает лапками мою теплую, загоревшую на солнце эпидерму и все же не может по этим ничтожным частностям представить себе все мое неизмеримо громадное, сложное тело, все его тайны, тысячи, миллионы его нервных узлов, зрительных, обонятельных механизмов, мозговых центров — словом, всего меня как произведение искусства, как личность, как нечто неповторимое, как галактику, — он не знает, как я называюсь, как мое имя, и это мучит: для него я всего лишь невоплощенный будда, лишенный жизненного назначения и какой бы то ни было идеи.

Я ползу по волосатой руке громадного мироздания, но я отличаюсь от муравья хотя бы тем, что не похож на нотный знак; тем, что у меня есть фантазия, тем, что я могу назвать вечность вечностью, а время назвать временем, хотя и не знаю, что это такое.

Я могу воплотить любую свою идею в нечто зрительное, объемное, в художественный образ, хотя это бывает почти всегда мучительно трудно, но не потому, что не могу создать образ, а потому, что отсутствует идея, нечего воплотить.

Но зато какое счастье охватывает душу, когда ею овладевает мысль, страстное желание воплотить ее, дать ей имя...

Наконец я сам дал ей имя: Клавдия Заремба. Да, именно так: Клавдия Заремба. Или Зарембо?

Что меня заставляет писать о ней, о мало мне знакомой — может быть, даже выдуманной — женщине Клавдии Зарембе? Привычка вообще писать, сочинять, выдумывать? Не думаю. На мою душу постоянно воздействуют извне миллионы ощути-

мых и неощутимых раздражителей, которые вдруг начинают со страшной настойчивостью требовать, чтобы я воплотил их в нечто матерьяльное, объемное.

Откуда идут эти настойчивые требования написать портрет молодой женщины, героини первых лет революции?

В те годы Сергей Ингулов обвинял молодых писателей в том, что они не пишут о Революции и отмалчиваются, ссылаясь на то, что нет сюжетов, нет героинь.

«Да,— писал Ингулов в харьковском «Коммунисте»,— это не та героиня, которая должна в литературу революционной эпохи прийти вместо тургеневской Елены, вместо гончаровской Верочки, вместо Веры Павловны Чернышевского. Она не характеризует нашу эпоху, но она вышла из этой эпохи. Поэтому о ней расскажу», а дальше и рассказал историю девушки из совпартшколы, молодой коммунистки, помогшей органам губчека ликвидировать опасный контрреволюционный заговор. Для того чтобы взять эту организацию, чрезвычайной комиссии надо было ввести в нее своих людей. Во главе организации стоял молодой врангелевский штабс-капитан. И надо было начинать с него. Это было очень трудно. Офицер был чрезвычайно осторожен, ни с кем не знакомился и внутри своей организации был связан только с несколькими офицерами, им же привлеченными к работе. Однако он не нашел в себе достаточно сил, чтобы побороть свое желание познакомиться с девушкой, которую он вот уже несколько дней подряд встречал на улице и в столовой ЕПО. Он уступил своей слабости. Познакомился. Она не знала, кто он. Он не знал, кто она. В губчека ей объяснили, с кем она познакомилась, и приказали влюбить в себя штабс-капитана. Задание было выполнено с лихвой: она не только влюбила его в себя, но влюбилась сама и не скрыла этого от заведующего секретно-оперативным отделом губчека, который взял с нее слово, что, несмотря ни на что, она доведет дело до конца. Девушка торопилась. Она говорила, что больше не может вынести этой пытки. Но дело с ликвидацией заговора затягивалось, так как взять следовало не только верхушку, а и хвосты. Она твердо испол-

нила свой партийный революционный долг, ни на минуту не выпуская из виду своего возлюбленного до тех пор, пока они не были вместе арестованы, сидели рядом в камерах, перестукивались, пересылали записки. Затем он был расстрелян. Она освобождена.

«Писатели и писательницы, — гремел Ингулов, — трагики и поэты, акмеисты и неоклассики, о ком рассказываете вы нам? Вы художники, вы не можете не воспринимать революционного быта, жизни — не классов, не слоев, не групп, — отдельных людей в революции...»

«Поэты и поэтессы, вы сумели воспеть любовь Данте и Беатриче, разве вам не постичь трагической любви штабс-капитана и девушки из партшколы?»

«Почему же вы молчите?»

Как сейчас вижу сердитое лицо моего старшего товарища и друга Сергея Ингулова, здоровое, цвета сырого мяса, с раздвоенным, как помидор, подбородком. В пенсне с толстыми стеклами без ободков, с несколько юмористически сжатыми губами провинциального фельетониста, слегка подражающего Аркадию Аверченко, и вместе с тем волевое, даже иногда грозно-беспощадное лицо большевика-подпольщика, верного ленинца, как бы опаленное пламенем тех незабвенных лет.

Но и его в некий срок не пощадил ангел смерти, прошумев над ним складками своих черных шелковых одежд, и на лету вырвал из него пламенную душу, оставив на земле — неизвестно где! — неподвижно распростертое, бездыханное тело человека, так и не успевшего услышать ответ на свой вопрос:

«Кто же была она, эта девушка из партшколы?»

...И что испытала она, ожидая развязки, в тот до ужаса знойный июльский день, пылающий, как багровый цветок бигнии, куда с угрожающим ворчанием медленно вползала оса, мягко расталкивая крыльями внутренние органы нагретого

солнцем цветка, преграждавшие ей дорогу в тупик, откуда уже не было возврата.

Весь город—его пустынные каменные улицы, его гранитные мостовые, неподвижное море, бездыханная перистая листва акаций, сухие фонтаны — в эти страшные часы солнечного удара как бы весь помещался внутри закрывшегося багрового цветка,— весь город вместе с портовым маяком, а главное, вместе с громадным, многоэтажным зданием, которое как бы возглавляло и подавляло все прочие строения и в котором в эти часы что-то готовилось на вечер.

Клавдия Заремба не знала в точности, как это делается. Но она сама была заперта в одной из камер этого здания, и все, что совершалось вокруг, в страшной близости от нее, сейчас же превращало ее догадки в нечто абсолютно достоверное.

Цветок бигнония имел еще другое название: текола.

Клавдия Заремба знала этот дом сверху донизу, все его парадные и черные лестницы, закоулки.

Не так давно — до революции — это был новый доходный дом какого-то акционерного общества на шикарной полузагородной улице против парка и славился своими дорогими барскими квартирами в пять, шесть и даже восемь комнат со всеми удобствами: ванными, ватерклозетами, газом, лифтами, с конюшнями и гаражом во дворе, с цветниками, круглым бассейном, мраморными скамейками, плакучими японскими деревцами посередине газонов и асфальтовыми дорожками, которые вели от калиток в кованой железной ограде к парадным входам дома, освещенным по вечерам матовыми электрическими плафонами, где жили очень богатые семьи.

Теперь здесь у всех входов и выходов стояли часовые частей особого назначения: китайцы, латыши, русские солдаты экспедиционного корпуса, вернувшиеся из Франции.

Дом этот возвышался над всем городом, как Акрёполь, а ночью один донизу был освещен ярким электричеством среди погруженных во мрак домов.

Бессонный, как совесть, он беспощадно озарял самые темные закоулки человеческого сознания, где, быть может, еще гнездились преступные мысли, порожденные моралью старого мира.

Но не менее страшен казался этот дом в разгар лета, в конце мучительно-нескончаемого июльского дня, когда время по декрету переводилось на три часа вперед, так что, когда по солнцу было еще только пять, городские часы показывали восемь вечера и вступал в силу комендантский час, после наступления которого появление на улицах без специального пропуска каралось расстрелом на месте.

Ослепительное солнце стояло еще высоко над крышами, а уже город был зловеще безлюден, в пустынных улицах по тротуарам косо и жарко дрожали зеркальные отражения оконных стекол, стучали шаги одинокого патруля, и дома изредка содрогались от проезжавшего мимо запертых ворот военного грузовика.

Что осталось у нее в памяти от этих дней?

Стена пустынной комнаты с громадным, роскошным письменным столом, на синем сукне которого лежал маузер в деревянной кобуре, кожаный диван и над ним, прямо по дорогам кабинетным обоям, размашисто написанные широкой кистью золотой краской слова: «Смерть контрреволюции».

Это был кабинет начальника секретно-оперативной части, из венецианского окна которого над верхушками Александровского парка с его обезглавленной колонной виднелась полоса кубово-синего одичавшего моря без единого паруса, без единого дымка на горизонте.

Встретившись через очень много лет с человеком, который тогда сидел за письменным столом, она напомнила ему эту золотую надпись на обоях, но он с удивлением посмотрел на нее:

- Не было такой надписи, дорогуша, ты что-то напутала.
- Уверяю тебя, была. Как сейчас вижу.

Он нахмурился.

- Это тебе показалось.

— Клянусь.

— Ну так кто-то из нас псих.

— Значит, ты.

Но прошло еще очень много времени — тому вперед, — и они встретились в центральной поликлинике возле кабинета зубного врача перед массивной ясеновой дверью с начищенной медной шишкой, среди квадратных колонн из искусственного мрамора и декоративных растений в фаянсовых горшках на теплом толстом подоконнике громадного окна, из которого открывался вид на ветхие особнячки Сивцева Вражка и на мягкий голубой силуэт высотного здания с вышками, обелисками и приземистым шпилем.

— Здравствуй, Викентий.

— Здравствуй, товарищ Заремба. Ты заметила, что мы с тобой встречаемся раз в семнадцать лет? Ты полностью?

— Полностью.

— Я тоже полностью, и даже уже на пенсии. Персональный пенсионер. Вот, брат. Делаю себе новые мосты.

— Я то же самое. Больше половины зубов потеряла.

— А ты тем не менее здорово прибавила. Сколько ты тянешь? Килограммов семьдесят?

— Зачем уточнять?

— А была хрупкая девушка, мечта поэта.

— Хрупкой никогда не была. Была тонкая, но плотная. И все-таки я утверждаю, что на обоях было написано: «Смерть контрреволюции». Хотя что хочешь, а было.

— Ты знаешь, действительно было, — засмеялся он. — Я потом вспомнил. Хотел даже тебе позвонить, но у нас там, вообрази себе, не было ни одного телефона-автомата.

— Ишь ты какой веселенький!

— А что! Знаешь, как это произошло: мы в отделе готовились к первомайской демонстрации и надо было написать на знамени какой-нибудь подобающий лозунг. Мы приложили кулачковое знамя к стене, растянули, и Ангел Смерти — ты его помнишь, нашего Колю Березовского, по кличке Ангел Смерти? — красивый был парень и хорошо рисовал, царство ему

небесное, — так он взял здоровую кисть и золотой краской написал: «Смерть контрреволюции». Краска прошла сквозь материю, и буквы отпечатались золотом на обоях.

— Вот видишь. А ты еще спорил.

— Прости, душенька. Однако ты нам тогда здорово помогла. Помню, как ты переживала!.. Страшное дело!

Они смотрели друг на друга, вспоминая себя такими, какими были в те времена. Он довольно смутно представил ее в своем кабинете совсем молодой, в трофейном английском френче, со стриженной, как у мальчика, головой, худой от голода, с несколько запавшими глазами, неподвижно устремленными на золотую надпись над кожаным адвокатским диваном. А она вспомнила его довольно суетливым человечком лет тридцати с внешностью мелкого ремесленника, каковым он в действительности и был до революции — типичный русский уездный портной-неудачник в ситцевой рубашке и жилетке с сине-вороненой пряжкой сзади, с яростно веселым выражением коротконосого, плебейского лица, истерзанного ненавистью к классовым врагам, которых он поклялся всех до одного уничтожить, стереть с лица земли, не зная ни пощады, ни жалости, ни усталости. Его однообразно темные глаза в форме вишенки внимательно, даже как бы предупредительно смотрели на собеседника, так что могло сложиться впечатление, что он человек добрый, даже жалостливый. Но ничто не могло быть более ошибочно, чем это впечатление: он был беспощаден, неподкупен и принципиален.

С детских лет хлебнувши в жизни много горя, несправедливости и унижений, сначала от зверя-хозяина, а потом от своих заказчиков — пехотных офицеров захолустного гарнизона, на которых он никогда не мог угодить, которые часто не платили ему за работу, требовали бесконечных переделок, перешивок, пригонок, которые били ему морду и выталкивали в три шеи из собрания, куда он приходил за деньгами с раздутой щекой, подвязанной цветным платком и с черно-свинцовым синяком под заплывшим глазом, он так ненавидел их, что у него кровь оглушительно стучала в висках и перехватывало дыхание, и он

готов был истребить их всех до одного, сколько бы их ни было на свете, истреблять без усталости, день и ночь, планомерно и яростно-хладнокровно и делать это до тех пор, пока на земном шаре не восторжествует Справедливость и Владыкой Мира станет Труд.

В тот день у него на письменном столе была разложена выполненная акварельными красками цветная схема контрреволюционной офицерской организации со всеми ее разветвлениями и связями, где каждый член преступной организации был изображен в виде условного знака — кружка, треугольника, ромба, квадрата с именем заговорщика, и Заремба прочитала в центре на зеленом треугольнике имя своего возлюбленного, к которому сходились все нити заговора.

Он допросил ее для проформы, все время суется, стараясь быть радушным хозяином и приговаривая:

— Сейчас я сбегая за кипяточком... Попьем с тобой чайку... Бери ландринку, хлебца. Небось проголодалась. Ты нас здорово выручила, спасибо тебе за это от имени Революции. И не переживай. Вытри щеки. Вот на тебе платочек. Поверь мне, этот подлец, твой штабс-капитанишка, не стоит слез. Был бы их верх — он бы всех нас развесил на фонарях и железнодорожных переходах; и тебя тоже, несмотря ни на что — будь в этом уверена. Или мы их, или они нас. Пей чайку. Потерпи до завтра. Нынче мы их всех ликвидируем. Завтра можешь спокойно выходить на работу.

Вечером из своей камеры она слышала, как их привезли на грузовике из тюрьмы и вызывали куда-то по одному и как через некоторое время в коридоре раздался топот ног, звуки борьбы, тяжелое дыхание, окрики. Она прильнула к окошечку в двери и увидела часть сумеречного коридора, оклеенного грязными бумажными обоями, и засиженную мухами голую электрическую лампочку на толстом витом шнуре, которая только что стала слабо накаляться, освещая все вокруг призрачным красным светом, и по этому коридору конвойные волокли, толкая в спину и хватая за плечи, громадного, костлявого, длинноносого парня с потным лицом, побитым оспой, с длинными обезь-

яньими руками, низким вогнутым лбом и далеко выдающимся дегенеративным затылком, известного налетчика, грабителя, разбойника, запросто убивавшего топором целые семьи, не жалея старух и маленьких детей, а кроме того, добровольного налача деникинской контрразведки, лично повесившего несколько десятков рабочих-коммунистов на железнодорожном переходе станции Одесса-Главная, по фамилии Ухов. Теперь его тащили из камеры для того, чтобы вывести в расход, и он, рыдая от ужаса и буйствуя, время от времени теряя сознание или делая вдруг отчаянные попытки вырваться, убежать и куда-нибудь спрятаться — хотя бы под скамейку, — не переставая слюнил своими толстыми мокрыми губами огрызок карандаша и норовил как можно разборчивее, громадными буквами написать на обоях свою фамилию Ухов. Его тащили, а он все писал, разрывая обои, одно за другим — Ухов, Ухов, Ухов, Ухов... — пока его не подхватили под мышки и понесли, а карандаш в последний раз провел по обоям глубокую рваную борозду и обломился...

Заремба хотела в последний раз посмотреть на Петю Соловьева, но их всех так быстро, почти бегом, провели по коридору фотографировать, что она его не заметила, легла в угол своей общей камеры и потеряла сознание, а потом обморок перешел в странный, почти летаргический сон, продолжавшийся несколько суток, а когда она очнулась, то увидела, что лежит на белой койке в больнице, и с большим трудом припомнила, что с ней было.

Года два после этого ее лечили и возили по санаториям, и в конце концов она выздоровела.

Несколько раз мы сталкивались с ней мимолетно, иногда узнавали друг друга, иногда не узнавали; молча проходили мимо или обменивались несколькими словами, и тогда в ее изменившемся стареющем лице я угадывал черты маленькой девочки в матроске или девушки из совпартшколы, в которую так страстно и так ненадолго влюбился.

Однажды я увидел ее на мраморной лестнице поликлиники; она шла вниз с одышкой, располневшая, почти седая, с толстыми ногами, обутыми в тесные туфли на высоких каблуках, которые, очевидно, причиняли ей страдание.

— Здорово, парень, — сказала она печально. — Как живешь? Ты уже дедушка? А я уже бабушка. Вспоминаешь ли ты когда-нибудь нашу молодость? Ну, топай, топай.

Сколько раз я брался за перо, чтобы исполнить совет покойного моего друга и старшего товарища Сергея Ингулова и написать роман о девушке из совпартшколы. Может быть, это был единственный настоящий сюжет, алмаз, который стоило, не жалея времени и сил, огранить, превратив в сверкающий бриллиант. Но каждый раз я чувствовал свое бессилие, тема была во много раз выше меня, и ее нельзя было обработать так себе, в старой манере, которой она никак не поддавалась.

Девушку из совпартшколы нужно было писать совершенно по-новому, небывало и, как сказал бы Осип Мандельштам, «на разрыв аорты». А я еще к этому не был готов.

«Как жалко, что нам не хватило времени написать наш «Революционный катехизис искусства», — с горечью воскликнул Эдмон Гонкур.

И как не хватало этого катехизиса мне, тогда еще не открывшему мовизма.

«...На протяжении всех 300 страниц с топотом опрокидывать все священные мнения, вековое восхищение, академические программы профессоров эстетики, всю эту старую веру искусства, еще более лишенную критического духа, чем религиозная вера...»

Нет, нет, успокойтесь, товарищи, это не я написал, а Гонкур!

«Интеллектуальное «наплеватьство» на всеобщее мнение: самая редкая смелость, какую я когда-либо встречал, и, только обладая этим даром, можно создавать оригинальные вещи...»

Короче говоря, нужно было быть не Буниным, а по крайней мере Маяковским.

«...я ищу... чего-то, что не походило бы на роман. Отсутствие интриги для меня недостаточно. Я хотел бы, чтобы сама структура была другой, чтобы эта книга носила характер мемуаров одного лица, написанного другим... Решительно слово «роман» уже не определяет книги, которые мы пишем. Я хотел бы дать им другое название».

...Если не мемуары, не роман, то что же я сейчас пишу? Отрывки, воспоминания, куски, мысли, сюжеты, очерки, заметки, цитаты...

Но все равно мне не под силу заполнить этими жалкими обломками своей и чужой памяти ту неизмеримую, вечную пропасть времени и пространства, на краю которой я ворочаюсь до рассвета, измученный, истерзанный тяжелыми мыслями.

Иногда я сам себе напоминаю счастливого царя, вдруг без всякой видимой причины заболевшего бессонницей.

Сказка о подушке.

С некоторого времени царь потерял способность спать. Лучшие врачи и маги не могли излечить его от этого смертельного недуга. Ни одно снотворное не действовало на царя. День и ночь он метался на своей постели с открытыми глазами, и его мозг был истощен постоянной, непрерывной, бесконечной работой воображения. Он умирал. Казалось, ничто не может его спасти. И вот однажды, глухой ночью, когда ангел смерти уже совсем низко летал над его головой, в спальню царя тайно пробралась босиком самая молодая, и самая прелестная, и самая любимая из его жен в тончайших, полупрозрачных шальварах в пестрых

цветочках, потрогала своими нежными пальчиками изголовье царя и сказала:

— Дорогой, мне кажется, я знаю причину твоей болезни. Не можешь ли ты ответить мне на один вопрос: давно ли ты спишь на этой подушке?

— Давно.

— А когда ее перебивали в последний раз и подсыпали в нее нового пуха?

— Сравнительно недавно.

— И, конечно, это делала твоя первая, главная жена?

— Ну да, по обычаю.

— Так вот что я тебе скажу, любимый: старушка переложилла пуха. Я ничего не хочу сказать о ней плохого. Она это сделала любя, чтобы тебе было лучше. Но потрогай — она ее так набила, что подушка стала, как каменная. Разве на ней заснешь? Дай, милый, я выпущу из нее лишний пух, и ты сразу забудешь, что такое бессонница.

Она вспорола своими проворными ручками наволоку и вынула несколько горстей драгоценного пуха, затем взбила подушку, царь положил на нее свою голову, почувствовал воздушную прохладу и легкость и заснул блаженным сном, а младшая жена выгнала полотенцем ангела смерти в форточку и, поцеловав своего повелителя и возлюбленного, удалилась так же неслышно, как и пришла.

Но сказка на этом, однако, не кончается.

Царь стал сразу же засыпать, как только ложился, и спал долго и сладко до самого позднего утра, когда ему приносили кофе с молоком. Сначала ему это очень нравилось, но потом он заметил, что совсем перестал перед сном размышлять о судьбах своего царства и даже немного поглупел. Тогда он позвал к себе молоденькую жену и шепнул ей на ухо:

— Старушка, конечно, тогда сильно переложилла пуха, это верно, но ты — о самая моя любимая! — сделала мой сон слишком легким, счастливым и бездумным. А для царя это не годит-

ся. Не можешь ли ты добавить в подушку совсем небольшую горсточку пуха, чтобы я засыпал не сразу и у меня было бы немного времени для полезных размышлений?

— С удовольствием, дорогой,— ответила младшая жена и добавила в подушку царя одну, совсем маленькую горсточку лебяжьего пуха.

— Вот теперь будет в самый раз,— сказал царь, и с той поры ежедневно перед сном его посещали самые важные мысли.

Разумеется, эти мысли не всегда были веселые, но зато они всегда озаряли его душу светом истины.

«Век. Известковый слой в крови больного сына твердеет. Спит Москва, как деревянный ларь, и некуда бежать от века-властелина... Пылает на снегу аптечная малина... Два сонных яблока у века-властелина и глиняный прекрасный рот. Ужели я предам позорному злословью — вновь пахнет яблоком мороз — присягу чудную четвертому сословью и клятвы крупные до слез?»

Пылала на снегу аптечная малина, и в агонии красных огней и вагонов в лице изменялась столица...

«Один: я заметил знамена у ложа и черную флейту над пультом; я видел, как с глиною борется, лежа у гроба, измученный скульптор. Другой: как столетье стояла минута, проверенной совести проба. Он был неподвижен, во френче, как будто диктующий лозунг из гроба. И третий: с мешками у глаз среди зала, седая и руки сухие, жена, неподвижно дежуря, стояла у тела в ногах, как Россия...»

Во сне сквозь шум темных крыльев я услышал стук в дверь. Стук судьбы. Я проснулся и долго не мог понять, где я нахожусь, медленно всплывая на поверхность из таинственных глубин сновидений, не успевших еще дойти до сознания.

Передо мною стояла большая фигура очень высокого человека в фетровой шляпе, и я услышал слова, сказанные знакомым голосом — баритональным басом, — который как бы мягко сходил на низы:

— Вы рады?

Он мог этого не спрашивать. Конечно, я был рад. Но меня удивило, что он не на бегах, хотя был беговой день, тринадцатое апреля. Он вошел в комнату, уже еле-еле тронутую приближающимися сумерками, поставил палку в угол, а шляпу повесил на пуговку самой верхней полки шведского книжного шкафа, предварительно попробовав пальцами, крепко ли она держится, эта самая пуговка, которую он в прошлый раз оторвал, так что мне пришлось обернуть ее стерженек бумагой.

Снимая пальто и бросая его на валик дивана, он рокочущим приглушенным басом приговаривал:

— Рад, что вы рады, и рад, что рад аппарат. Аппарат прекрасный, аппарату рад,— рад и я и мой аппарат. Узнаете?

— Конечно. «Баня».

— А знаете, откуда это попало в «Баню»?

— Не знаю.

— Из детства. Купили фотографический аппарат. Вся семья очень радовалась. Немедленно выразил это стихами: «Мама рада, папа рад, что купили аппарат». Это и было мое первое стихотворение.— Он помолчал, высморкался, вытер свой гриппозный нос.— Когда будете писать воспоминания о Маяковском — не забудьте этого факта. Пригодится. Или продайте кому-нибудь другому.

— Обязательно!

Затем он спросил традиционное:

— Как живете, караси?

— Ничего себе, мерси,— ответил я столь же традиционно.

Это было двустипшие из моей уже давно изданной детской книжечки под названием «Радиожираф», которое понравилось Маяковскому, и он пустил его в ход, так что в нашей компании, а потом по всей Москве и дальше оно сделалось как бы шуточным военным паролем.

Он вообще часто подхватывал чью-нибудь крылатую фразу и в течение долгого времени не расставался с ней, повторяя на все лады, так что иногда создавалось впечатление, что это придумал он сам.

Так, одно время он без конца повторял шуточный стишок Ильфа: «Марк Аврелий, не еврей ли?»

Знаменитые рекламные строчки Маяковского: «Нигде кроме, как в Моссельпроме» — стали пословицей, но другой подобный же афоризм: «Кто куда, а я в сберкассу» — был сочинен Васей Лебедевым-Кумачом, хотя это также приписывали Маяковскому.

Вообще, как человеку очень известному и популярному, ему приписывалось множество чужих остроумий и шуток, подобно тому как почти все анекдоты и эпиграммы некогда приписывались Пушкину.

Кстати, выражение: «Инцидент исчерпан» — вместо «исчерпан» я слышал еще до революции. Его придумал друг моей юности, большой остряк Арго. От него это выражение и пошло по рукам, пока им окончательно не завладел и не закрепил навсегда за собой Маяковский.

В этот день он острил скорее по привычке. Мне показалось, что нынче он что-то не весел, озабочен, будто все время прислушивается к чему-то. Наверное, — подумал я тогда, — замучил грипп.

С некоторым беспокойством следил я за всеми его передвижениями, так как обычно, входя в мою комнату, он учинял небольшой шуточный дебош, безвредный, но пугающий своей стремительностью. Одним движением смахивал он с письменного стола рукописи, засовывал под диван книги, ставил на подоконник, за портьеры, как за кулисы, письменные принадлежности, бутылочки с чернилами, коробку канцелярских скрепок.

— Запомните, — приговаривал он ворчливо, — у писателя на столе должно быть абсолютно пусто. Шурум-бурум к черту! Это отвлекает.

В особенности его раздражал небольшой матово-серебряный юбилейный прибор в стиле модерн, доставшийся мне в наследство от моего полтавского дяди, известного в свое время земского деятеля. Я держал прибор исключительно из уважения к памяти дяди.

С непостижимым проворством фокусника Маяковский расковыривал все составные части этого юбилейного прибора — подсвечники без свечей, ножик для разрезания, пресс-папье без промокашки, две пустые чернильницы с серебряными колокольчиками крышечек, спичечницу, — с глаз долой, куда попало: в книжный шкаф, под кресла, даже в устье голландской печки, если дело было летом.

Совершая все эти забавные безобразия, он рычал из Хлебникова: «И тополь земец, и вечер тедец, и моря речи, и ты — далече».

Этим он как бы отдавал долг вежливости моему дяде, который был земец.

Думаю, что подобного рода торопливое освобождение стола от посторонних предметов была скорее всего привычка игрока, не теряя золотого времечка, готовить зеленое поле для ночного сражения.

На этот раз он ограничился лишь тем, что с нескрываемым презрением покосился на юбилейный прибор и, отодвинув в сторону легковесный серебряный подсвечник, присел боком на угол стола, обтянутого зеленым сукном, и в такой позе — полусидя-полустоя — сказал, отвечая на мой вопросительный взгляд:

— Ни за чем. Пришел просто так. Вы удивлены? Напрасно. Посидеть с человеком. Как гость. Хотите — «будем болтать свободно и раскованно»?

И в ту же минуту надолго замолчал, ушел глубоко в себя.

Его по-украински темно-карие, несколько женские глаза — красивые и внимательные — смотрели снизу вверх, отчего мне всегда хотелось назвать их «рогатыми».

Рогатые глаза. Глупо. Но мне всегда так хотелось. Может быть, в этом и есть самая суть мовизма — писать как хочется, ни с чем не считаясь.

В углу его крупного, хорошо разработанного рта опытного оратора, эстрадного чтеца с прекрасной артикуляцией и доход-

чивой дикцией, как всегда, торчал окурок толстой папиросы высшего сорта, и он жевал его, точнее сказать перетирал синеватыми искусственными зубами, причем механически двигались туда и сюда энергичные губы и мощный подбородок боксера.

В его темных бровях, в меру густых, таких, которые, как я заметил, чаще всего встречаются у очень способных, одаренных юношей, — было тоже нечто женское, а лоб, мощно собранный над широкой переносицей, был как бы рассечен короткой вертикальной морщиной, глубоко черневшей треугольной зарубкой.

С недавнего времени он почему-то отрастил волосы, и они разваливались посередине лба на стороны, придавая несвойственный ему вид семинариста, никак не соответствующий тому образу Маяковского — футуриста, новатора, главаря, который сложился у меня с первых дней нашего восьмилетнего знакомства, то есть с самого начала двадцатых годов.

Теперь, когда он стал памятником, очень трудно представить его себе не таким, как на площади Маяковского, на невысоком цоколе, с семинарскими волосами. Между тем почти все время, за исключением самого начала и самого конца своей писательской жизни, он коротко стригся, иногда наголо, машинкой под ноль, и его голова — по-моему, иногда даже просто начисто выбритая — определенностью своей формы напоминала яйцо, о чем свидетельствуют фотографии разных лет, в том числе одна из самых похожих работы друга Маяковского, художника и фотографа лефовца Родченко, где великий поэт с наголо остриженной головой, с внимательными агатовыми глазами сидит без всякой позы на простом венском стуле с гнутой спинкой прямо посреди какой-то пустынной комнаты, похожей на кухню.

Передо мной, облокотившись задом на стол — на тот самый стол, за которым мы — Асеев, Светлов, Олеша, Крученых, Маяковский, — бывало, резались до утра в девятку, без умолку остря, в клубах зеленого табачного дыма, — стоял уже почти

памятник, во всяком случае на его знаменитом лице лежали чугунные тени хмурого апрельского предвечерия, холодного и сырого.

У него было затрудненное гриппозное дыхание, он часто сморкался, его нос с характерной бульбой на конце клубнично краснел. Он привык носить с собой в коробочке кусочек мыла и особую салфеточку, и, высморкавшись, он каждый раз шел в кухню и там над раковиной мыл руки этим своим особым мылом и вытирался собственной, особой салфеточкой, причем, доставая их из кармана, по своей неизменной привычке, начинал перекладывать из кармана в карман различные предметы: из заднего кармана брюк извлекал, например, пачку бледно-зеленых двадцаток, приготовленных для уплаты фининспектору подоходного налога, и перекладывал ее в боковой карман пиджака, а на место пачки двадцаток засовывал маленький маузер, извлеченный из левого кармана брюк вместе с кусочком мыла, завернутого в салфетке, а мыло и салфетку перекладывал в правый карман, откуда на миг доставал стальной кастет и быстро прятал его обратно, причем заодно проверял, на месте ли в нагрудном кармане авторучка, или, как он любил ее называть несколько высокопарно — «стилó».

«Вот вам, товарищи, мое стилó, и можете писать сами!»

Подобные операции с перекладыванием вещей он производил довольно часто. Доставая один какой-нибудь предмет, он как бы приводил в движение некий скрытый механизм, после чего происходил неотвратимый, законченный цикл перекладывания предметов, их появления и исчезновения, щелканья, чем-то напоминавший движение механических фигурок в тире, приведенных в движение метким выстрелом в маленькую красную мишень.

И вверх ногами рушилась на своей оси железная фигурка убитого человечка...

— Катаич,— сказал он, пряча в карман последний пред-

мет,— вот вы южанин. Скажите, как вы переносите север? Часто простужаетесь?

— Беспрерывно.

— И я то же самое. До сих пор никак не могу привыкнуть к этому паршивому климату. Апрель называется!.. Разве это апрель? Гибну, как обезьяна, привезенная из тропиков.

Он снова высморкался, и характерным жестом глубоко, обеими руками одновременно заправил сорочку под ремень своих просторных брюк — узких в бедрах, широких в шаг, — в глубоком кармане которых часто лежала его «краснокожая паспортна» — «молоткастый, серпастый советский паспорт».

Именно тогда мне в голову пришла простая мысль, догадка, объяснявшая многое в его характере, в особенностях его творчества. В сущности, он был человеком из другой страны, южанин. Приезжий. И до сих пор никак не мог акклиматизироваться. Заморский страус. Во всяком случае именно так назвал он себя в стихотворении «России».

«Вот иду я, заморский страус... Я не твой, снеговая уродина. Глубже в перья, душа, уложись! И иная окажется родина, вижу — выжжена южная жизнь. Остров зноя. В пальмы овазился... Ржут этажия. Улицы плятятся. Обдают водой холода. Весь истыканный в дымы и в пальцы переваливаю года».

Впервые понял я, как ему трудно переваливать года.

«Что ж, бери меня хваткой мёрзкой! Бритвой ветра перья обрей. Пусть исчезну, чужой и заморский, под неистовства всех декаблей».

Я повторял про себя эти строчки, а он — их творец, в любую минуту готовый исчезнуть, чужой и заморский, весь истыканный в дымы и в пальцы, — внимательно смотрел в мое маленькое окно почти на уровне земли, выходившее во двор извозничьего трактира, одного из тех чайных, каких в то время осталось еще довольно много по переулкам Сретенки.

Двор был заставлен кончавшими свой век ободранными пролетками, и лошади с надетыми на морды торбами заглядывали в окошко, встречаясь взглядами с Маяковским, по-видимому, чувствуя его хорошее к себе отношение.

Очень медленно, чересчур медленно, темнело в этот неопределенный час между концом дня и началом вечера в одном из бедных переулков, куда не долетал глухой мельничный шум по-китайски многолюдной, пешеходной Сретенки, и мы вдвоем с Маяковским в еще не освещенной комнате — он уже знаменитый на весь мир поэт, и я, так и не написавший до сих пор «Девушки из совпартшколы», — оба, как мне тогда казалось, уже далеко не молодые — ему тридцать семь, а мне — господа, неужели? — уже тридцать три — и жизнь прошла! — все это вместе вызывало во мне страшную, безвыходную горечь, ощущение безвозвратно ушедшей молодости, чуть ли не наступившей старости, когда все прошло и больше уже ничего не будет или, как тогда говорилось в нашем кружке: «Больше ничего не покажут».

А впереди, на сумеречной стене, водянисто-пепельная тень неопределенных очертаний, которую можно было при желании истолковать как угодно, даже как пепельные одежды летящего Азраила.

«И день сгорел, как белая страница: немного дыма и немного пепла».

Может быть, именно вот так — в дореволюционные годы — сидел в своей петербургской конурке некий непризнанный литератор, жалкий подражатель Достоевского, — и вдруг на пороге — весь темный, в темной широкополой шляпе, в шерстяном кашне, тихий, неясный, как сон, — Александр Блок, который пришел навестить собрата. Пришел ни за чем. Просто так. Посидеть с человеком. Как гость. По литературной традиции. Ходят же люди в гости друг к другу. Ведь ничего нет страшнее, когда не куда человеку пойти. И так далее.

Было во всем этом острое ощущение традиционного русского писательского быта, возможно, даже смены поколений, горечь неизбежного отмирания. И то, что мне представилось явление Александра Блока, было понятно.

Маяковский любил Блока, едва ли не считал его самым великим русским поэтом со времен Пушкина.

Он никогда об этом не говорил. По крайней мере прямо. Но я чувствовал, что это именно так.

Однажды в начале двадцатых годов Маяковский вернулся из заграничной поездки — кажется, из первой своей заграничной поездки, — вернулся домой, в Москву, в квартиру Бриков в Водопьяном переулке у Мясницких ворот, наискосок от почтамта, полный впечатлений, и был крайне удивлен, даже потрясен, когда на другой же день «Известия» прислали к нему интервьюера. Это воспринялось как нечто из ряда вон выходящее, еще небывалое.

Несмотря на бурно разворачивающийся нэп, в советских центральных газетах продолжал царить строгий стиль военного коммунизма, не допускавший ни малейшей бульварщины, желтизны, сенсаций, свойственных буржуазной прессе. И, уж разумеется, никаких интервью, в особенности с поэтом-футуристом, вернувшимся из заграничной поездки. Однако времена, по-видимому, менялись. Нэп наступал. И вот первая ласточка: сотрудник «Известий», явившийся к Маяковскому взять интервью.

Взвинченный, веселый, изысканно-вежливый, сверкающий всеми красками своего неповторимого юмора, Маяковский в парижском пуловере, с узким ремешком карманных часов на лацкане пиджака — было сверхмодно носить часы в нагрудном карманчике пиджака, — с наголо остриженной головой — гигиенично, современно, конструктивно, а также потому, что: «Причесываться? На время не стоит труда, а вечно причесанным быть невозможно!» — шагая среди своего полуразобранного ба-

гажа, расшвыренного по всей комнате, то и дело наступаая новыми заграничными башмаками на коробки, свертки, на раскладную гуттаперчевую ванну-таз, отбрасывая из-под ног цветные резиновые губки, нераскупоренные флаконы с аткинсоновской лавандой и зелено-полосатые жестянки с тальком для бритья «пальмолив», Маяковский в одно и то же время и усаживал сотрудника «Известий» за стол, и наливал ему «напареули», и придвигал тарелку с громадными свежими пирожными «от Бартельса», и краем рта, показывая синеватые зубы, победно улыбался, глядя на членов редакции «Лефа», собравшихся на заседание по случаю возвращения из-за границы своего главного редактора.

Проходя мимо, сказал:

— Как вы думаете, если бы — вообразите себе! — не я вернулся из Парижа, а Блок, то прислал бы ему Стеклов сотрудника взять интервью для «Известий»?

Уверен, что вечно в душе Маяковского жил Александр Блок, тревожа его, заставляя завидовать и восхищаться.

Блок был совестью Маяковского.

Однажды в какой-то редакции среди общего разговора, шума, гама, острот Маяковский вдруг ни с того ни с сего как бы про себя, но достаточно громко, чтобы его все услышали, со сдержанным восхищением, будто в первый раз слыша музыку блоковского стиха, от начала до конца сказал на память без единой запинки волшебное стихотворение:

— «Ты помнишь? В нашей бухте сонной спала зеленая вода, когда кильватерной колонной вошли военные суда...»

Глаза Маяковского таинственно засветились:

— «Четыре — серых...» — сказал он и помолчал. Было видно, что его восхищает простота, точность, краткость и волшебство этих двух слов: «четыре — серых». Целый морской пейзаж.

— «Четыре — серых. И вопросы нас волновали битый час, и загорелые матросы ходили важно мимо нас».

Он даже при этих словах сделал несколько шагов назад-вперед, на один миг как бы перевоплотившись в загорелого французского матроса в шапочке с красным помпоном, и закончил стих, неожиданно вынув из кармана, предварительно в нем порывшись, маленький перочинный ножик — возможно, воображаемый.

— «Случайно на ноже карманном найди пылинку дальних стран — и мир опять предстанет странным, закутанным в цветной туман!»

Маяковский протянул слушателям воображаемый ножик и даже подул на него, как бы желая сдуть пылинку дальних стран.

Голову даю на отсечение, что в это время он видел вдали перед собой мираж своего «острова зноя, овазившегося в пальмы».

Главная сила Маяковского было воображение.

«Океан — дело воображения, — писал он где-то. — И на море не видно берегов, и на море волны больше, чем нужны в домашнем обиходе, и на море не знаешь, что под тобой.

Но только воображение, что справа нет земли до полюса и что слева нет земли до полюса, впереди совсем новый, второй свет, а под тобой, быть может, Атлантида, — только это воображение есть Атлантический океан».

Гениально просто, но именно в этом и заключается самая суть поэзии.

Антагонизм литературных направлений. Не выдумка ли это? По-моему, не существует никаких литературных направлений.

Есть одно только направление в искусстве: всепокоряющая гениальность. Даже просто талант. И — воображение.

Ленин назвал Достоевского архискверным, что не помешало ему подписать декрет о сооружении Достоевскому памятника.

Однажды я был свидетелем встречи Маяковского с Мандельштамом. Они не любили друг друга. Во всяком случае считалось, что они полярные противоположности, начисто исключаящие друг друга из литературы. Может быть, в последний раз перед этим они встретились еще до Революции, в десятые годы, в Петербурге, в «Бродячей собаке», где Маяковский начал читать свои стихи, а Мандельштам подошел к нему и сказал: «Маяковский, перестаньте читать стихи, вы не румынский оркестр». Маяковский так растерялся, что не нашелся что ответить, а с ним это бывало чрезвычайно редко. И вот они снова встретились.

В непосредственной близости от памятника Пушкину, тогда еще стоявшего на Тверском бульваре, в доме, которого уже давным-давно не существует, имелся довольно хороший гастрономический магазин в дореволюционном стиле.

Однажды в этом магазине, собираясь в гости к знакомым, Маяковский покупал вино, закуски и сласти. Надо было знать манеру Маяковского покупать! Можно было подумать, что он совсем не знает дробей, а только самую начальную арифметику, да и то всего лишь два действия — сложение и умножение.

Приказчик в кожаных лакированных нарукавниках — как до революции у Чичкина — с почтительным смятением грузил в большой лубяной короб все то, что диктовал Маяковский, изредка останавливаясь, чтобы посоветоваться со мной.

— Так-с. Ну, чего еще возьмем, Катаиш? Напрягите все свое воображение. Копченой колбасы? Правильно. Заверните, почтеннейший, еще два кило копченой «московской». Затем: шесть бутылок «абрау-дюрсо», кило икры, две коробки шоколадного

набора, восемь плиток «золотого ярлыка», два кило осетрового балыка, четыре или даже лучше пять батонов, швейцарского сыра одним большим куском, затем сардинок...

Именно в этот момент в магазин вошел Осип Мандельштам — маленький, но в очень большой шубе с чужого плеча до пят, — и с ним его жена Надюша с хозяйственной сумкой. Они быстро купили бутылку «кабернэ» и четыреста граммов сочной ветчины самого высшего сорта.

Маяковский и Мандельштам одновременно увидели друг друга и молча поздоровались. Некоторое время они смотрели друг на друга: Маяковский ядовито сверху вниз, а Мандельштам заносчиво снизу вверх, и я понимал, что Маяковскому хочется как-нибудь получше состричь, а Мандельштаму в ответ отбрить Маяковского так, чтобы он своих не узнал.

Я изучал задранное лицо Мандельштама и понял, что его явное сходство с верблюдиком все же не дает настоящего представления о его характере и художественно является слишком элементарным. Лучше всего изобразил себя сам Мандельштам:

«Куда как страшно нам с тобой, товарищ большеротый мой! Ох, как крошится наш табак, шелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом... Да, видно, нельзя никак».

Он сам был в этот миг деревянным шелкунчиком с большим закрытым ртом, готовым раскрыться как бы на шарнирах и раздавить Маяковского, как орех.

Сухо обменявшись рукопожатием, они молчаливо разошлись; Маяковский довольно долго еще смотрел вслед гордо удалявшемуся Мандельштаму, но вдруг, метнув в мою сторону как-то особенно сверкнувший взгляд, протянул руку, как на эстраде, и голосом, полным восхищения, даже гордости, произнес на весь магазин из Мандельштама:

— «Россия, Лета, Лорелея».

А затем повернулся ко мне, как бы желая сказать: «А? Каковы стихи? Гениально!»

Это была концовка мандельштамовского «Декабриста»:

«Все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять: Россия, Лета, Лорелея».

По отношению к прошлому будущее находится в настоящем. По отношению к будущему настоящее находится в прошлом. Так где же нахожусь я сам?

Неужели для меня теперь нет постоянного места в мире?

Или «теперь» это то же самое, что «тогда»?

— Ну так что же,— сказал теперь Маяковский, усаживаясь на диван,— вы хозяин. Я гость. Занимайте.

— Я вас?

— Меня!

— Мчать болтая, будто бы весна — свободно и раскованно?

— Вот именно.

Ох, какие мы были тогда остряки!

— Давайте. Расскажите что-нибудь раскованно о Блоке. Вы ведь с ним встречались?

— Хотите: о моей одной исторической встрече с Александром Блоком? Еще до революции. В Петрограде. У Лилички именины. Не знаю, что подарить. Спрашиваю у нее прямо: что подарить? А у самого в кармане... сами понимаете. Нищий! Дрожу: а вдруг захочет торт — вообразите себе! — от Гурмэ или орхидеи от — можете себе представить! — Эйлера. Жуть! Но она потребовала книгу стихов Блока с автографом.

Но как же я это сделаю, если я с Блоком, в сущности, даже не знаком. Тем более — футурист, а он символист. Еще с лестницы, чего доброго, спустит. — Это ваше дело. — Положение пиковое, но если Лиличка велела... О чем тут может быть речь?.. Сшатался с лестницы. Слышал, живет на Офицерской. Мчусь

на Офицерскую. Пятый этаж. Вбежал. Весь в пене. Задыхаюсь. Дверь. Здесь. Стучусь. Открывают. — Не могу ли видеть поэта Александра Блока? — Как доложить? — Так прямо и режу: — Доложите, что футурист Маяковский. — А сам думаю про себя: нахал, мальчишка, апаш, щен, оборванец. Никому не известен, кроме друзей и знакомых, а он — Блок! Нет, вы только вообразите себе, напрягите всю свою фантазию: Александр Блок. Великий поэт. Сам! Кумир. По вечерам над ресторанами. Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, ай. Стою. Жду. Сейчас спустят с лестницы. Ну что ж... Не так уж высоко. Всего пять этажей. Пустяки. Но все-таки... Однако нет, не спустили. Услышав мой голос, выходит в переднюю. Лично. Собственно-ручно. Впервые вижу вблизи. Любопытно все-таки: живой гений. При желании могу даже потрогать. Александр Блок. Величественно и благосклонно. С оттенком мировой скорби: — Вы Маяковский? — Я Маяковский! — Рад, что оказали мне честь. — И этак многозначительно: — Знал, что вы придете. Чувствовал. Давно жду встречи с вами, — и вводит в свой кабинет. Ну, конечно, кабинет не то что ваш, с юбилейной чернильницей от полтавского земства! Сами понимаете: книги, корректуры. Письмо трагической актрисы. «Розы поставьте на стол, и приходилось их ставить на стол». — Садитесь. — Сажусь. Не знаю, куда спрятать ботинки. Один из них с латкой. Неловко. Сижу, как на еже. Несколько раз порываюсь что-нибудь насчет книги стихов с автографом. Но он не дает сказать ни одного слова. Сам! Подавляет величиим. И что самое ужасное: чувствую, что придает моему визиту всемирно-литературное значение. Высший исторический смысл. Свиданье монархов. Встреча символизма и футуризма. — Мы, говорит, уходим, а вы, говорит, приходите. Мы прошлое, вы будущее. Футуризм идет на смену символизму. Вы наша смерть. Принимаю в вашем лице грядущее Мира. И, конечно, русской литературы, хотя вы и бросаете Пушкина с парохода современности. (Дался им всем этот несчастный пароход современности. Даже мама говорила: «Зачем тебе это, Володечка?» Знал бы, не подписывал бы.) И вообще, говорит, Маринетти. У вас, Маяковский, «особенная статья». С радостью и печалью

приемлю ваш приход ко мне. Это было predetermined. В один роковой миг будущее всегда появляется на пороге прошлого. Я прошлое. Вы будущее. Вы — возмездие. У нас с вами будет длинная беседа.—И так далее, по принципу: «...громя футуризм, символизмом шпынял, заключив реализмом».

(А дома Лиличка с нетерпением ждет автографа! Представляете мое состояние? Без этого автографа мне хоть совсем не возвращаться. Сказала — не пустит. И не пустит. Положение безвыходное.) А он все свое: мировая музыка, судьбы мира, судьбы России...— Вы согласны? — спрашивает.— Не так ли? А если не согласны, то давайте спорить. В споре рождается истина. Хоть мы идем и разными путями, но я глубокий поклонник вашего таланта. Даже если хотите — ученик. Ваш и Хлебникова. Хлебников гений. Вы до известной степени тоже.— Ну, тут он для красного словца немножко загнул, потому что, как впоследствии выяснилось, один из вариантов его стихотворения «День приходил, как всегда: в сумасшествии тихом» содержит такие строчки:

«Хлебников и Маяковский набавили цену на книги, так что приказчик у Вольфа не мог их продать без улыбки».

Вот как уел! Эта строфа,— заметил Маяковский,— тогда почему-то в печать не попала. А жаль! Все-таки реклама. Хотя и была воткнута ироническая шпилька в футуристические зады. Но не в этом дело. Дело в том, что время неумолимо шло, а собственноручной подписи Блока все нет и нет! Терпел час, терпел два, наконец не выдержал. Озверел. Лопнул. Прерываю Блока на самом интересном месте: — Извините, Александр Александрович. Договорим как-нибудь после. А сейчас не подарите ли экземплярчик ваших стихов с собственноручной надписью. Мечта моей жизни!

Отрешенно улыбается. Но вижу — феерически польщен. Даже не скрывает.— У меня ни одного экземпляра. Все разобрали. Но для вас...— Только подождите, не пишите Маяковскому. Пишите Лиле Юрьевне Брик.— Вот как? — спросил с

неприятным удивлением. — Впрочем, говорит, извольте. Мне безразлично... — И с выражением высокомерия расчеркнулся на книжке. А мне того только и надо. — Виноват. — Куда же вы? — Тороплюсь. До свиданья. — И кубарем вниз по лестнице. По улице. Одна нога здесь, другая на Невском. Так что брюки трещали в ходу. Вверх по лестнице. В дверях — Лиличка. — Ну что? — Достал! — Рассиялась. Впустила.

Смеркалось.

Я хотел включить свет, но Маяковский остановил меня величественным мановением руки:

— Не надо. Будем экономить электроэнергию.

Я сбегал на Сретенку в «гастроном» купить что-нибудь поесть, но полки были пустые, в витрине виднелись деревянные муляжи окороков и красных головок голландского сыра, а в отделе закусок были выставлены штабеля пачек злакового кофе и возвышались горы чего-то тошнотворно-перламутрового под угнетающей надписью «бычьи семенники».

Но шампанское еще имелось, хотя и в ограниченном количестве.

Я принес бутылку полусухого «абрау-дюрсо» и поставил на зеленом сукне письменного стола.

— К сожалению, больше ничего не достал.

Он усмехнулся половиной лица, и характерная для его улыбки толстая складка оползла вокруг его рта, сделав выражение его лица с косыми скулами еще более саркастическим.

— Фазанов не достали? — деловито спросил он.

— Фазанов не достал.

— Я вам никогда не рассказывал?

— Про что?

— Про фазанов.

— Нет.

— Много потеряли. Из эпохи моей голодной юности. Мою автобиографию, надеюсь, читали? Называется «Я сам». Там есть глава под заглавием «Куоккала». Начинается эпически: «Семи-

знакомая система (семипольная). Установил семь обедающих знакомств. В воскресенье «ем» Чуковского, понедельник — Евреинова и т. д.». Так вот о Евреинове. Вы знаете, что такое Евреинов? Нет, вы не знаете, что такое Евреинов. Известнейший в свое время режиссер, сноб, теоретик, эстет, создатель знаменитого «театра для себя». Барин, дворянин, любил покровительствовать молодым гениям. Пытался их даже подкармливать. Я был в то время молодой гений. Прихожу однажды к Евреинову подкармливаться. Голодный, как черт. Вола б съел.

— А, Маяковский! Рад вас видеть. Вытирайте ноги и входите. Вы, наверное, не против хорошего ужина, по лицу вижу. Гении всегда голодают. Но сейчас мы это все устроим. Фазанов любите?

(Господи, думаю, каких там еще фазанов! Мне бы любительской колбасы с французской булкой фунта полтора да чаю с сахаром внакладку стаканов шесть. А то каких-то фазанов! Но ничего не поделаешь, театр для себя.)

Принимаю великосветский вид и небрежно роняю:

— Фазанов? Обожаю!

— Превосходно.

Великолепным жестом Евреинов нажимает кнопку электрического звонка, и появляется горняшечка в кружевной наколке.

— Поля,— говорит томно Евреинов, запахиваясь в шелковый халат,— молодой гениальный поэт проголодался. Пойдите на кухню, узнайте там, остались ли от обеда фазаны, и велите подать молодому человеку.

— Слушаюсь.

— Садитесь, Маяковский. Сейчас вам подадут холодных фазанов. По-моему, это самый изысканный завтрак: холодные фазаны. Бисмарк всегда ел за завтраком — холодных фазанов.

И он, подлец, так вкусно произнес на немецкий манер слово «фазаны», что у меня потекли слюни прямо-таки, как вожжи.

— Однако, я вижу, вы большой гурман,— говорит Евреинов, и в это время входит горничная.

— Николай Николаевич, фазанов не осталось.

— Видите, Маяковский, к сожалению, фазанов не оста-

лось, — огорченно произносит Евреиннов, разводя руками. — Ничего не поделаешь. Придется вам сегодня остаться без ужина.

Представьте себе, Катаиш, я чуть не заплакал от огорчения. А он ничего. Завел разговор о Гордоне Креге и Метерлинке. Это у него и называлось «театр для себя».

— Выпьем по этому случаю шампанского, — предложил я.

— Сколько раз я говорил вам, чтобы вы никогда не произносили этого глупого слова. Только выскочки и парвеню кричат на весь кабак: «Шампанского!» А всякий уважающий себя человек должен говорить «вино». А уж все окружающие должны сразу понять, что раз вы говорите вино, то имеете в виду именно шампанское, а не что-нибудь другое. И в ресторане никогда не кричите: «Шампанского!» Заказывайте официанту вполголоса, но внушительно: «Будьте так добры, принесите мне вина». Он поймет. Уж будьте уверены. Принесет, что надо.

Чтобы не вызвать язвительной полуулыбки у Маяковского, который не перебаривал «хлопанья пробок», хотя и вполне признавал волшебную звукопись «шипенье пенистых бокалов и пунша пламень голубой» и «вошел — и пробка в потолок», — я снял железную скобку, почти совсем бесшумно отвинтил пробку «абрау-дюрсо» и скромно налил в наши стаканы шипучее вино. Маяковский его только пригубил. Видно, не хотел пить. Он вообще пил немного, преимущественно легкое виноградное вино, в чем сказывалось его грузинское происхождение.

«Только нога ступила в Кавказ, я вспомнил, что я — грузин».

Водку совсем не признавал. С презрением говорил, что водку пьют лишь чеховские чиновники.

Мы долго молчали, думая каждый о своем. Не знаю, о чем думал Маяковский, но он все время как бы к чему-то прислушивался, ожидал чего-то. Я же думал о нем, которого с давних пор страстно любил как поэта, считая его равным Пушкину.

Каким же, в сущности, был этот человек, задумчиво, но пря-

мо сидевший в темноватой комнате на диване под ленинградской афишей моего провалившегося «Авангарда»?

Горький однажды сказал при мне полушутя-полусерьезно, что он уже не человек, а учреждение. В чем-то он был прав. Про Маяковского же, несмотря на всю его громадную общественно-политическую, в том числе и организационную, работу поэта-главаря, новатора, создавшего новый русский поэтический язык, работу, которую Маяковский неустанно вел не меньше Горького, его никак нельзя было назвать учреждением. Он всегда оставался только человеком — великим художником слова, новатором-революционером с очень сложным, противоречивым характером и нежной, легко ранимой душой, «истыканной в дымы и в пальцы».

Недавно в этой же комнате Мейерхольд, засидевшись до зари, со свойственной ему страстью и преувеличениями развивал план тургеневских «Отцов и детей» для постановки в кинематографе.

Фильм должен был начаться с черной классной доски, на которой Базаров рисует мелом схему человеческой грудной клетки — белые ребра и в них — как в темнице — за решеткой — нарисованное человеческое сердце, бьющееся сначала ритмично и размеренно, подчиняясь закону кровообращения, а потом трепещущее, скачущее и вдруг замирающее в последней конвульсии.

— Базаров нигилист? Вздор! — торопливо говорил Мейерхольд своим сильным голосом, закидывая назад узкую голову с большой беспорядочной шевелюрой так, что его носатый профиль полишинеля временами принимал как бы совсем горизонтальное положение. — Базаров умирает не от заражения крови! Базаров умирает от любви. Его убивает страсть к женщине. Да, да, вот именно! Безумная страсть! Базаров обводит углем на своей груди место, где у него колотится сердце. Он сам с ужасом замечает, что его сердце сжимается от любви, от страсти, от желания! План постановки разработан у меня до последнего кадра.

— Кто же будет Базаров? — спросил я.

— Охлопков,— ответил Мейерхольд,— я вижу Охлопкова. Только Охлопкова, и никого другого.— И вдруг, повернув ко мне лицо, которое в фас казалось настолько узким, что как бы имело только два измерения и в третьем вовсе не просматривалось, воскликнул: — Нет! Не Охлопков! Ведь Базаров был футурист! Есть только один настоящий Базаров, который сможет умереть от любви: Маяковский! Тем более что он сам очень хороший актер. Зина, ты согласна, что Маяковский очень хороший актер в жизни? Он должен сыграть у меня Базарова. Он уже много раз снимался для синематографа. Но только не попадал в руки настоящего режиссера. Наконец — он автор нашего театра. Мы его уговорим. Решено!

И тут же он стал развивать уже совсем другой план, план постройки для его театра совершенно нового помещения.

— Это будет театр-арена. Зрители вокруг. Почти вокруг. Вокруг на три четверти, на четыре пятых. Товарищи, представьте себе,— все больше и больше распалялся Мейерхольд, взбивая длинными пальцами свою высокую шевелюру и шагая, как на шарнирах, по комнате, то сгорбившись в три погибели, то закидывая голову назад и резко поворачиваясь.— Для открытия — «Отелло». Совершенно пустая сцена, где абсолютно ничего нет, кроме громадного, во всю арену, одноцветного ковра. Ярко-малинового. Что? Зеленого? Вот видите, Зина находит, что зеленого. Она не совсем права, но тем лучше. Громаднейший, во всю арену, без единой морщины темно-зеленый ковер, ослепительно ярко освещенный сверху всеми прожекторами; и в самом центре этого ковра... Нет! Не в центре, а чуть-чуть вне центра, но все-таки посередине — маленький...— Он сделал паузу и, сладостно зажмурившись, протянул руку, как бы держа в своих пальцах, длинных, как у Паганини, нечто воздушно-легкое, маленькое, волшебное.— И посередине этого ярко освещенного зеленого...— он разжал пальцы,— маленький, совсем крошечный, но пронзительно заметный из самых отдаленных точек зрительного зала — кружевной платочек с вышитой в уголке земляничкой. Больше ничего! Это и есть «Отелло». Это и есть подлинный, настоящий Шекспир. Не правда ли, это гениально просто?

Гениально-то гениально, подумал я, но ведь все-таки Шекспира, а не Маяковского мечтает он поставить для открытия своего ультрасовременного, нового театра-арены. Почему же все-таки не Маяковского? Неужели время Маяковского — зенит его славы — прошло или во всяком случае проходит?

Не стал ли это чувствовать с некоторых пор и сам Маяковский.

Все тяжелее становилось ему переваливать года. Это уже был совсем не тот Маяковский первых лет Революции, которого я некогда увидел в Харькове, в дни поволжского голода.

Очень хорошо об этом у Олеши:

«Мы с Валентином Катаевым сидели в ложе и с неистовым любопытством ждали выхода на сцену того, чье выступление только что возвестил председатель. На сцене не было ничего, кроме столика, за которым сидел президиум — по всей вероятности, люди из городского комитета партии, из редакций, из руководства комсомола. Пустая огромная сцена, в глубине ее голые стены даже с какими-то балконами...

Не только я и Катаев — два молодых поэта — охвачены волнением. Назад мы не оглядываемся, так что не можем определить, что переживает весь театр, но те, что сидят за столиком, — люди бывалые, да еще и настроенные, как это чувствуется, скептически, — вперились, видим мы, глазами туда, в тайну кулис.

Я был уверен, что выйдет человек театрального вида, рыже-волосый, почти буффон... Такое представление о Маяковском могло все же возникнуть у нас: ведь мы-то знали о желтой кофте и о литературных скандалах в прошлом!

Совсем иной человек появился из-за кулис!

Безусловно, он поразил тем, что оказался очень рослым; поразил тем, что из-под чела его смотрели необыкновенной силы и красоты глаза... Но это вышел, в общем, обычного советского вида, несколько усталый человек, в полушубке с барашковым воротником и в барашковой же, чуть сдвинутой назад шапке.

Хорошо помню и я этот вечер — Ингулов в президиуме! может быть, рядом с ним и Клавдия Заремба! — и Маяковского, так прекрасно описанного Олешей. Однако я бы не сказал, что Маяковский был в полушубке с барашковым воротником и барашковой шапке. Это неточно. Я бы сказал так: на Маяковском было темно-серое, зимнее, короткое до колен полупальто с черным каракулевым воротником и такая же черная — но не шапка, а скорее круглая неглубокая шапочка, действительно несколько сдвинутая на затылок, открывая весь лоб и часть остриженной под машинку головы.

Он вышел сбоку и, сделав строевой шаг с левой ноги вперед, громко сказал, как бы подавая самому себе команду:

— Раз-з-з!

Но это не был счет шагов, а первый слог его знаменитого «Левого марша»:

«Раз-ворачивайтесь в марше! Словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ маузер».

Это была его программная вещь, и с особенной энергией он отбивал ее твердый революционный ритм, точно гвозди вколачивал в голые доски сцены.

«Левой! Левой! Левой!»

Потом он, не передохнув, прочитал от начала до конца свою громадную, совсем недавно написанную, но уже известную нам с Олешей анонимную поэму «150 000 000», потрясшую нас своим неистовством:

«Выдь не из звездного нежного ложа, боже железный, огненный боже, боже не Марсов, Нептунов и Вег, боже из мяса — бог-человек!»

Чугунно шагая по эстраде, он сделал такой жест, как будто вдруг выхватил из кармана на бедре пистолет и направил его в зрительный зал:

«Пули, погуще! По оробелым! В гущу бегущим грянь, парабеллум!»

Затем его голос загремел яростно, и он не произнес, а как-то проскрежетал:

«Самое это! С донышка душ! Жаром, жженьем, железом, светом, жарь, жги, режь, рушь!»

И когда он дошел до стиха:

«Мы тебя доконаем, мир-романтик!» —

то нам с Олешей показалось, что он смотрит прямо на нас своими прекрасными грозными глазами, и мы даже немного подались в глубь ложи, прикрыв глаза, как от слишком яркого света.

«Вместо вер,— продолжал греметь Маяковский,— в душе электричество, пар. Вместо нищих — всех миров богатство прикарманьте!»

И тут впервые до нас полностью дошла безусловно самая страшная, беспощадная, кровавая строчка во всей мировой революционной поэзии, которая, когда мы читали ее глазами в книге, как-то ускользала от нас, а теперь неожиданно раскрылась во всей своей невероятной силе, обрушилась на нас, как взорванная стена.

«Стар — убивать. На пепельницы черепá!»

Это было так страшно, что даже потом, когда, переменив манеру чтения, Маяковский почти пропел в стилизованно-русской частушечной манере строчки об Америке:

«Мир, из света частей собирая квинтет, одарил ее мощью магической. Город в ней стоит на одном винте, весь электро-динамо-механический», мы уже не могли оценить их по достоинству. И лишь когда Маяковский, до последней степени усталый,

вытирая шапкой блестящую от пота свою коротко остриженную голову, в последнем усилии напрягая свой рокошущий, уже сорванный голос, бросил в черный молчаливый зал концовку своей героической поэмы:

— «...цвети, земля, в молотье и в сеятье. Это тебе революций кровавая Илиада! Голодных годов Одиссея, тебе!» —

мы очнулись — и то не сразу — и впервые поняли, что собой — по-настоящему — представляет Маяковский, его подлинный масштаб.

По самой своей духовной сути он был поэт трагический и только на этом пути мог создавать действительно гениальные вещи.

Тема вечной неразделимой любви и смерти всегда находилась в центре его творчества, его человеческой личности. Каждая его поэма — хождение души по мукам, гибель и затем апофеоз воскресения для новой, неслыханно прекрасной и справедливой, вечно счастливой, идеальной общечеловеческой жизни.

В поэме «Владимир Ильич Ленин» — то же самое. Тема смерти переходит в апофеоз:

«Выше солнце!.. Стала величайшим коммунистом-организатором даже сама Ильичева смерть... Рабы, разгибайте спины и колени! Армия пролетариев, встань, стройна! Да здравствует революция, радостная и скорая! Это — единственная великая война из всех, какие знала история».

...Он жаждал Революции радостной и скорой...

Одна из моих любимейших вещей Маяковского — «Хорошо!», где в трагическом зареве уличных октябрьских костров так неповторимо-прекрасно «тонула Россия Блока», тоже заканчивается апофеозом: «Жизнь прекрасна и удивительна».

Я уже не говорю о поэме «Про это» с потрясающим романсом о мальчике-самоубийце.

«Вата снег. Мальчишка шел по вате. Вата в золоте — чего уж пошловатей?! Но такая грусть, что стой и грустью ранься! Расплывайся в процыганенном романсе.

Мальчик шел, в закат глаза уставя. Был закат непревзойдимо желт. Даже снег желтел к Тверской заставе. Ничего не видя, мальчик шел. Шел, вдруг встал. В шелк рук сталь. С час закат смотрел, глаза уставя, за мальчишкой легшую кайму. Снег хрустя разламывал суставы. Для чего? Зачем? Кому? Был ворм-ветром мальчишка обыскан. Попала ветру мальчишки записка. Стал ветер Петровскому парку звонить:

— Прощайте... Кончаю... Прошу не винить..

До чего ж на меня похож!»

Когда я впервые услышал эти строки-исповедь, прочитанные Маяковским с эстрады Политехнического музея перед стулом, на котором висел его пиджак и узкий галстук, мне сразу же представился другой Маяковский, автор поэмы «Люблю», нищий мальчишка, мечтающий о вечной, единственной, великой любви.

«Любить? Пожалуйста! Рубликов за сто. А я, бездомный, ручища в рваный в карман засунул и шпаялся, глазастый».

Для Маяковского — да и для всех других поэтов — время шло по вертикали сверху вниз; так он и записывал свои строки. Для меня же время идет по горизонтали — туда или даже иногда обратно, — поэтому я записываю стихотворные строчки в одном направлении — по течению времени.

Однажды ночью мы шли с ним по горизонтали пустынной Мясницкой — он заходил ко мне в Мыльников, и я пошел проводить его до Лубянского проезда, ныне Серова, — и я попросил его как-нибудь прочесть мне «Облако в штанах».

Он остановился, посмотрел на меня исподлобья и неожиданно рывкнул на всю улицу, разеваая свою львиную пасть:

— Редчайшая бестактность!

Я стухнул.

— Почему же бестактность? Простите... Но мне давно уже... так хотелось... Почти все ваши вещи слышал в вашем исполнении... А «Облака» не слышал... не пришлось...

Он взъярился еще пуще.

— «Облако в штанах»! — заревел он. — А почему вы не просите меня прочесть «Хорошо!»? Почему?

В голосе его я уловил горечь.

— Что? Думаете, «Облако» лучше? А я считаю, что «Хорошо!» лучше. «Хорошо!» — лучшее мое произведение. И вообще, — снова поднял он свой разъяренный голос, — никогда не смейте просить поэта прочесть что-нибудь старое, вчерашнее. Нет хуже оскорбления. Потому что у настоящего мастера каждая новая вещь должна быть лучше прежних. А если она хуже, то значит поэт кончился. Или во всяком случае — кончается. И говорить ему об этом — феерическая бестактность! Зарубите себе на носу. Фе-е-ри-чес-кая!..

Я понял, что, совсем не желая того, коснулся самого его больного места:

«Все меньше любитя, все меньше дерзается, и лоб мой время с разбега крушит. Приходит страшнейшая из амортизаций — амортизация сердца и души».

...Сумерки продолжались. Маяковский пронизательно посмотрел на меня и улыбнулся половиной лица.

— Катанч, у меня сложилось такое впечатление, что у вас назначено свиданье, вам надо сломя голову мчаться, чтобы не опоздать, а вы стесняетесь сказать мне это.

«Я был молод, когда познакомился с Маяковским, — пишет Олеша, — однако любое любовное свидание я мог забыть, не пойти на него, если знал, что час этот проведу с Маяковским».

Я тоже любил Маяковского не менее сильно, чем Олеша, и я оже был молод, но даже ради него не мог нарушить данного слова.

Он поощрительно кивнул мне головой.

Оставив Маяковского одного в своей комнате, я вышел из дома и, мобилизовав все виды транспорта, слетал туда и обратно — извинился, отменил, перенес, поцеловал, обнял — и, вернувшись минут через сорок, нашел его все на том же месте возле совсем посиневшего окна.

— Простите, — сказал я.

Он невесело улыбнулся одной щекой.

— Понимаю вас.

И пояснил своим любимым четверостишием из «Онегина»:

— «Я знаю: век уж мой измерен; но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я».

В этот миг вдруг раздался звонок до сих пор молчавшего телефона.

По-видимому, наступил тот московский час, когда знакомые начинали перезваниваться, сговариваясь, где бы провести сегодняшний вечерок. В последнее время почти каждый день почему-то собирались у меня, так что моя квартира превратилась в подобие ночного клуба.

Едва я успел снять трубку, как Маяковский стремительно шагнул ко мне и сделал повелительный жест рукой, обозначающий приказание, прежде чем ответить, прикрыть телефонную трубку, что я и выполнил.

— Кто звонит? — спросил Маяковский.

— Сейчас узнаем.

Дальнейшее происходило так: я спрашивал, кто говорит, закрывал ладонью трубку и вполголоса сообщал Маяковскому имя звонившего, а он, несколько мгновений подумав, утвердительно или отрицательно, но чаще отрицательно кивал головой. Иногда прибавлял при этом что-нибудь вроде: «Пусть прихо-

дит» или «А ну его к черту», а то еще и значительно похуже, после чего я покорно говорил в трубку: «Я сегодня вечером занят» или «Приходите».

В этот день как раз звонило особенно много разного народа, и Маяковский, как золотоискатель, самым тщательным образом промывал звонки, оставляя редкие крупинки чистого золота: тех людей, которые должны были сегодня вечером составить ему компанию.

Было трудно понять, чем он руководствовался при этом выборе. Удивляло, что он отверг некоторых своих общепринятых друзей, товарищей по «Лефу», и сделал это с выражением — я бы даже сказал — яростного отвращения: «А, пошел он к...»

Такая же участь постигла и одного очень известного поэта другого лагеря, позвонившего мне в этот вечер.

— Не надо,— буркнул Маяковский, махнув рукой, и повернулся спиной к телефону.

Он недавно вступил в РАПП и, конечно, уже страшно раскаивался. Поспешил. Погорячился. Сделал ложный шаг. Я думаю, он уже понимал, что, в сущности, РАПП такой же вздор, как и «Леф». Литературная позиция — не больше.

До живого же Маяковского — человека, поэта, сложного и очень противоречивого — независимого и одинокого, как Пушкин,— большинству из них не было никакого дела. Для них — и для футуристов в прошлом, а ныне «лефов» в том числе — он был счастливая находка, выгоднейший лидер, человек громадной пробивной силы, за широкой спиной которого можно было пролезть без билета в историю русской литературы. Рай для примазавшихся посредственностей, оперативных молодых людей, бряцавших своим липовым лефовством, которые облепили Маяковского со всех сторон, общими усилиями принижая его до своего провинциального уровня, выросли на нем, как ракушки на киле океанского корабля, мешая его ходу.

Он был в отчаянии, он не знал, как от них избавиться, от всех этих доморощенных «лефов», невежественных и самонаде-

янных теоретиков, высасывающих теорию литературы из гимназических учебников старших классов...

Каких только монстров не было среди них!

Был даже один среднего размера карлик — страшный новатор, формалист и революционер в искусстве, разумеется, превратившийся с течением времени в самого вульгарного, благонамеренного наукообразного строчкогона-консерватора, имеющего репутацию большого знатока литературы: фельдшер, выдающий себя за доктора медицины.

Поэт, неустанно боровшийся за освобождение человека от всех видов духовного рабства, незаметно для самого себя превратился в раба, по рукам и ногам скованного предрассудками так называемой литературной борьбы, которую совсем недавно сам же публично называл «литературным мордобоем — не в буквальном смысле слова, а в самом хорошем».

Ну, пусть даже так: в самом хорошем смысле. Но страшно подумать, сколько он потратил своих драгоценнейших душевных сил на весь этот вздор.

Теперь он как бы вдруг на моих глазах сбросил с себя эти оковы и стал безгранично свободным, как и подобало поэту, одна лишь поэма которого стоила в тысячу раз дороже всех внутрилитературных скандалов и направлений, вместе взятых.

Пора великих превращений начиналась для него с возвращения внутренней свободы, душевной раскованности. Ему уже не надо было в угоду чьей-то выдуманной теории наступать на горло собственной песни, вычеркивать из своих стихов паразитические по силе куски, как это случилось со знаменитым:

«Я хочу быть понят моей страной, а не буду понят — что ж?!
По родной стране пройду стороной, как проходит косой дождь».

За одно это четверостишие — по-моему — ему нужно было поставить памятник, а ему пришлось в угоду кому-то или чему-

то публично за это четверостишие каяться, называя его «райским хвостиком, приделанным к одному из своих неуклюжих бегемотов-стихов»,

добавляя при этом:

«Несмотря на всю свою романсовую чувствительность (публика хватается за платки), я эти красивые, подмоченные дождем перышки вырвал».

Какие же унижения при этом должен был испытывать он, мастер, отлично знающий настоящую цену этим своим строчкам!

Что же заставило его так несправедливо, а главное, неверно назвать одни из своих лучших строк «подмоченными»?

А бесконечные унижения, связанные с оскорбительным прохождением через тогдашний Главрепертком комедии «Баня», где он так блестяще дрался на два фронта — против правых оппортунистов и левых загибщиков?

Сначала все шло как будто хорошо.

Чтение в фойе театра Мейерхольда — там, где сейчас Зал имени Чайковского. Окна — на Триумфальную, ныне площадь Маяковского с его памятником, на месте которого тогда был зеленый провинциальный сквер, и вокруг него, как заводные игрушки, бегали, роняя искры, еще не вполне устаревшие электрические трамваи, те самые московские трамваи времен юного Маяковского, о которых он так замечательно сказал:

«Язык трамвайский вы понимаете?»

И еще более замечательно:

«...тысячью поцелуев покрою умную морду трамвая».

Над домиком трамвайной станции, над нестриженной зеленью сквера виднелись отовсюду знаменитые часы — как сказал бы

Олеша, «бочка счастья», — знаменитые электрические часы, под которыми обычно назначались в Москве наиболее важные любовные свидания, в том числе, конечно, назначались и самим Маяковским.

Пыльное, особенно бесприютное какое-то при свете буднего дня фойе, где ничего не говорило о том, что это фойе всемирно известного театра режиссера-новатора, каждая новая постановка которого — событие, драка, скандал.

Скрипучие старые венские стулья, расставленные как попало перед маленьким кухонным, ничем не покрытым столиком с графином водопроводной воды и полоскательницей, уже полной скисших окурков.

Но зато какие люди! Цвет театрального мира, цвет художественной интеллигенции.

Писатели, которых притащил с собой Маяковский, были: Эрдман, Зощенко, Бабель, Вольпин...

Наконец сам Мейерхольд, элегантно-затрапезный, с вьющимся, полуразвязанным, узким, сильно поношенным, но тем не менее явно парижским галстуком, заброшенной назад, за плечи носатой головой и музыкальными руками, так странно движущимися, что можно поклясться, что их не две, а по крайней мере четыре, как у индийского божества. Это не я придумал. Так его написал Борис Григорьев, кажется, даже в цилиндре: несколько рук в белых перчатках. А может быть, и не Григорьев. Не помню.

Кажется, даже пришли кое-кто из мхатовцев. Так сказать, лазутчики из враждебного лагеря. Аки. Наверное — Марков Паша, как мы его тогда называли, со своими вздернутыми короткими черными бровями, как у самурая, и простодушно-ядовитейшей улыбкой. Он уже давно, втайне, охотился за Маяковским, желая заставить его написать пьесу для МХАТа. Маяковский — на сцене Художественного. Вот был бы номерок! Скандал на весь крещеный мир!

(— Хо-хо-хо, — захлебываясь, хохотал Марков.)

— А, собственно, почему бы и нет? Ведь сам мастер Мейерхольд из тех же конюшен. Бывший актер Художественного театра. (Играл Треплева, играл Шуйского в «Царе Федоре».)

Марков недавно, путем невероятных трудов и хитростей, затащил Маяковского во МХАТ на «Дни Турбиных» Булгакова. Маяковский улизнул после третьего акта.

На вопрос Маркова:

— Ну, что вы скажете?

Маяковский ответил:

— Не знаю. Не видел хвоста. Поэтому не могу и определить, что это за зверь ваш Булгаков: крокодил или ящерица.

Сняв по своему обыкновению пиджак и повесив его на спинку стула, Маяковский развернул свою рукопись — как Мейерхольд любил говорить: манускрипт, — хлопнул по ней ладонью и, не теряя золотого времени на предисловие, торжествующе прорычал:

— «Баня», драма в шести действиях! — причем метнул взгляд в нашу сторону, в сторону писателей; кажется, он при этом даже задорно подмигнул.

Он читал отлично, удивив всех тонким знанием украинского языка, изображая Оптимистенко, причем сам с трудом удерживался от смеха, с усилием переводя его в одностороннюю улыбку толстой, подковообразной морщиной, огибающей край его крупного рта с окурком толстой папиросы «госбанк».

После чтения, как водится, начались дебаты, которые, с чьей-то легкой руки, свелись, в общем, к тому, что, слава богу, среди нас наконец появился новый Мольер.

Как говорится, читка прошла «на ура», и по дороге домой Маяковский был в прекрасном настроении и все время допытывался, не кажется ли нам, что в шестом действии чего-то не хватает?

— Чего же?

— Не знаю. Вам как автору всемирно популярной «Вишневой квадратуры» должно быть виднее. Нет, нет, не сердитесь, это я люблю.

— Любя вставили мой водевильчик в свою высокую комедию?

— Зато какая реклама! Так все-таки чего же не хватает у меня в шестом действии?

— Не знаю.

— А я знаю,— подумав, сказал Маяковский.— Еще должен быть какой-то вставной номер о пафосе наших дней. Без этого нет равновесия. Я его завтра утром напишу.

Когда мы на другой день встретились с ним случайно на Большой Дмитровке, против ломбарда,— он сразу же сказал:

— Только что написал. Именно то, чего не хватало.

Он достал из бокового кармана вчетверо сложенный лист графленой бумаги, но не стал в нее смотреть, даже не развернул, а, продолжая идти по улице, под ногу прочел «Марш времени».

— «Шагай, страна, быстрее, моя коммуна у ворот. Вперед, время! Вре-мя, впе-ред!»

— Как вы думаете, Мейерхольду понравится?

— Он будет в восторге. В этом же самая суть нашей сегодняшней жизни. Время, вперед! Гениальное название для романа о пятилетке.

— Вот вы его и напишите, этот роман. Хотя бы о Магнитострое. Название «Время, вперед!» дарю,— великодушно сказал Маяковский, посмотрев на меня строгими, оценивающими глазами.

Однако вскоре на пути «Бани», к общему удивлению, появилось множество препятствий — нечто весьма похожее на хорошо организованную травлю Маяковского по всем правилам искусства, начиная с псевдомарксистских статей одного из самых беспринципных рапповских критиков, кончая замалчиванием «Бани» в газетах и чудовищными требованиями Главреперткома, который почти каждый день устраивал обсуждение

«Бани» в различных художественных советах, коллективах, на секциях, пленумах, президиумах, общих собраниях и где заранее подготовленные ораторы от имени советской общественности и рабочего класса подвергали Маяковского обвинениям во всех смертных литературных грехах — чуть ли даже не в халтуре.

Дело дошло до того, что на одном из обсуждений кто-то позволил себе обвинить Маяковского в великодержавном шовинизме и издевательстве над украинским народом и его языком.

Никогда еще не видел я Маяковского таким растерянным, подавленным. Куда девалась его эстрадная хватка, убийственный юмор, осанка полубога, поражающего своих врагов одного за другим неотразимыми остротами, рождающимися мгновенно.

Он, первый поэт Революции, как бы в один миг был сведен со своего пьедестала и превращен в рядового, дюжинного, ничем не выдающегося литератора, «протаскивающего свою сомнительную пьеску на сцену».

Маяковский не хотел сдаться и со все убывающей энергией дрался за свою драму в шести действиях, которая сейчас, когда я пишу эти строки, уже давно и по праву считается классической.

— Слушайте, Катанч, что они от меня хотят? — спрашивал он почти жалобно. — Вот вы тоже пишете пьесы. Вас тоже так режут? Это обычное явление?

— Ого!

Я вспомнил экземпляр одной из своих пьес, настолько изуродованной красными чернилами, что Станиславский несколько дней не решался мне его показать, опасаясь, что я умру от разрыва сердца.

Маяковский брал меня с собой почти на все читки. По дороге обыкновенно советовался:

— А может быть, читать Оптимистенко без украинского акцента? Как вы думаете?

— Не поможет.

— Все-таки попробую. Чтобы не быть великодержавным шовинистом.

И он пробовал.

Помню, как ему было трудно читать текст своего Оптимистенко «без украинского акцента». Маяковский всю свою энергию тратил на то, чтобы Оптимистенко получился без национальности, «никакой», бесцветный персонаж с бесцветным языком. В таком виде «Баня», конечно, теряла половину своей силы, оригинальности, яркости, юмора.

Но что было делать? Маяковский, как мог, всеми способами спасал свое детище. Все равно не помогло. К великодержавному шовинизму на этот раз, правда, не придирались, но зато обвинили в «барски-пренебрежительном отношении к рабочему классу».

— Что это за Велосипедкин! Что это за Фоскин, Двойкин, Тройкин! Издевательство над рабочей молодежью, над комсомолом. Да и образ Победоносикова подозрителен. На кого намекает автор? И прав товарищ Мартышкин, когда отмечает, что характеры, собранные Маяковским, далеко не отвечают требованиям единственно правильной марксистской теории живого человека. Так что учтите это, товарищ Маяковский, пока еще не поздно, пока вы еще не скатились в мелкобуржуазное болото.

— Запрещаете?

— Нет, не запрещаем.

— Значит, разрешаете?

— Не разрешаем.

— А что же?

— А то, что сделайте для себя надлежащие выводы, если не хотите из левого попутчика превратиться в попутчика правого, а то еще и похуже...

Маяковский метался по фанерному закутку среди приказов и пожелтевших плакатов, как бы с трудом пробиваясь сквозь слоенные облака табачного дыма, висевшего над столом с блюдецками, наполненными окурками, с исписанными листами газетного срыва, с обкусанными карандашами и чернильницами-

непроливайками с лиловыми чернилами, отливающими сухим металлическим блеском. И за его острыми, угловатыми движениями с каменным равнодушием следили разнообразные глаза распаренных многочасовым заседанием членов этого адского художественного совета образца тысяча девятьсот двадцать девятого года, как бы беззвучно, но зловеще повторяющих в такт его крупных шагов: «Очернительство... очернительство... очернительство...»

Особенно душил его сам председатель, доведя Маяковского до того, что однажды он в поезде «Красная стрела» Москва — Ленинград, стоя в коридоре международного спального вагона, держа в руке стакан чаю в тяжелом мельхиоровом подстаканнике, поставив толстую подошву своего башмака на медную панель отопления, яростно перетирая окурки боковыми зубами и глядя в окно на проносящиеся мимо парные телеграфные столбы — одна опора прямо, другая отставлена в сторону, что делало их похожими на двух чечеточников, — вдруг начал читать только что сочиненные им злейшие эпиграммы. Одна была на поэта С. и заканчивалась цитатой из Крылова: «И рылом подрывать у дуба корни стала», в другой говорилось: «И бард поет, для сходства с Байроном на русский на язык прихрамывая», а третья была такая: «Подмяв моих комедий глыбы, Главрепертком сидит Гандурин. — А вы ноктюрн сыграть могли бы на этой треснувшей бандуре?»

Он прочел эти эпиграммы, окружив рот железными подковами какой-то страшной, беспощадной улыбки.

Такую железную улыбку я видел у него несколько раз, в частности в тот день, когда я познакомил его в редакции «Красного перца» с Булгаковым, которого Маяковский считал своим идейным противником.

Булгаков с нескрываемым любопытством рассматривал вблизи живого футуриста, лефовца, знаменитого поэта-революционера; его пронзительные, неистовые жидковато-голубые глаза скользили по лицу Маяковского, и я понимал, что Булгакову ужасно хочется померяться с Маяковским силами в остроумии.

Оба слыли великими остряками.

Некоторое время Булгаков молча настороженно ходил вокруг Маяковского, не зная, как бы его получше задрать. Маяковский стоял неподвижно, как скала. Наконец Булгаков, мотнув своими блондинистыми студенческими волосами, решил:

— Я слышал, Владимир Владимирович, что вы обладаете неистощимой фантазией. Не можете ли вы мне помочь советом? В данное время я пишу сатирическую повесть, и мне до зарезу нужна фамилия для одного моего персонажа. Фамилия должна быть явно профессорская.

И не успел еще Булгаков закончить своей фразы, как Маяковский буквально в ту же секунду, не задумываясь, отчетливо сказал своим сочным баритональным басом:

— Тимерзяев.

— Сдаюсь! — воскликнул с ядовитым восхищением Булгаков и поднял руки.

Маяковский милостиво улыбнулся.

Своего профессора Булгаков назвал: Персигов.

Из воспоминаний о Маяковском. Стружки.

— Володя, ты совсем перестал заниматься французским языком!

— Тише, Лиличка, не спугни: он у меня сам собой зреет во рту, как колос.

— Сколько должно быть в пьесе действий?

— Самое большое пять.

— У меня будет шесть.

В конце вечеринки:

— Ну, товарищи, Олеша уже начал говорить по-французски. Пора расходиться.

— Сначала вы всех любите и вас все любят. И все идет

хорошо. Потом вас все любят, кроме одной, именно той, которую вы любите. И так всегда.

— Плюну я, кажется, на все и буду читать свои стихи из-под полы по рублю за строчку.

— Коля звезда первой величины.

— Вот именно. Первой величины, четырнадцатой степени.

— Чего бы вы хотели больше всего на свете?

— Иметь карликового бегемотика, ручного, чтобы он сидел под столом, как собака.

— А есть такие?

— Своими глазами видел в Америке. Стоят шесть тысяч долларов штука.

...Вот он теперь опять передо мной — то сидит, то встает, то ходит, то поворачивается в совсем уже темной комнате с пошнечными окошками, — воплощенная метафора из «Облака».

«Меня сейчас узнать не могли бы: жилистая громадина стонет, корчится. Что может хотеться этакой глыбе? А глыбе многое хочется! Ведь для себя неважно и то, что бронзовый, и то, что сердце — холодной железкою... И вот, громадный, горблюсь в окне, плавлю лбом стекло окошечное»...

Ну и так далее.

Прислушивался. Ждал. Сказал ходовую фразу, популярную тогда в нашей компании:

— Чарли ждет гостей, а гости не пришли.

Но как раз в этот миг в передней раздался звонок. Шум голосов. Вспыхнул свет. Воскликания. Все изменилось. Еще звонок. Еще восклицания. Стали подваливать выбранные Маяковским гости...

Что же было потом? Обычная московская вечеринка. «За-

вернули на огонек». Сидели в столовой. Чай, печенье. Бутылки три рислинга. Как большая редкость — коробка шоколадного набора: по краям бумажные кружевца, а в середине серебряная длинногорлая фляжечка ликерной конфеты. В виде экспромта, забавного курьеза остатки от обеда — миска вареников с мясом, которые еще больше подчеркивали случайный характер вечеринки, ее полную непреднамеренность. Сидели тесно вокруг стола. Стульев, конечно, не хватило. Мы с Маяковским рядом на большой бельевой корзине, покрытой шкурой бурого медведя.

Маяковский опирался локтем на громадную тяжелую медвежью голову, изредка ее приподнимал за черное рыло и нежно заглядывал в стеклянные карие глазки и в узкую крашеную пасть с белыми зубками и желтыми клыками.

Он был совсем не такой, как всегда, не эстрадный, не главарь. Притихший. Милый. Домашний.

— Владимир Владимирович, хотите вареников?

— Благодарю вас.

— Благодарю вас да или благодарю вас нет?

Можно себе представить, каким фейерверком остроут, шуток, каламбуров взорвался бы в другое время Маяковский, не упустивший ни малейшего повода устроить блестящий словесный турнир и, разумеется, выйти из него победителем. В этой области у него не было соперников. И вдруг ему предлагают вареников — простых, обыкновенных, общечеловеческих вареников с мясом. Какой богатейший матерьял для остроумия, для словесной игры!

Однако в этот вечер Маяковского как будто подменили. Он вежливо отвечает:

— Да, благодарю вас.

Он, который даже в парикмахерской требовал:

«Причешите мне уши».

За столом в этот вечер острили все, кроме Маяковского. Молодые мхатовские актеры, львы, все время задирали знаме-

нитого поэта и острошлова, вызывая на турнир остроумия. Не без опаски пробовали свои силы. Но он либо отмалчивался, либо вяло отбивался. Можно было подумать, что он вдруг под действием какого-то странного волшебства потерял дар остроумия.

Но зато в нем в полную силу засияло другое качество — драгоценный дар душевного тепла, доброты, нежности, скромности, всего того, что он так застенчиво таил в своем большом жарком сердце.

Молодой Борис Ливанов, в те времена еще подававший большие надежды, красавец актер ростом почти с Маяковского, ну, может быть, на два пальца ниже, обаятельный про́стак и герой-любовник, уже хлебнувший сладкой отравы сценического успеха, весельчак и душа-парень, жаждал помериться остроумием с Маяковским и все время задибался, подбрасывал ему на приманку едкие шуточки, однако безрезультатно. Маяковский отмалчивался. Не отставал от Маяковского и молодой Яншин, тоже уже знаменитый на всю Москву, прославившийся в роли Лариосика в наимоднейшей пьесе Булгакова «Дни Турбиных», — тоненький, немного инфантильный, мягко ритмичный, полный скрытого мягкого юмора, не лишенного, однако, большой дозы сарказма. Такому — пальца в рот не клади, не доверяй его детской улыбке!

Если наскоки Ливанова на Маяковского имели характер железных перчаток, вызова на турнир, то реплики Яншина, сказанные слабым невинным комедийным голоском и поданные в духе дружеской шуточки, жалили Маяковского исподтишка, но тоже без видимого результата. Они не могли вывести Маяковского из того странного лунатического состояния, в которое он как бы погружался все глубже и глубже, лишь изредка приходя в себя — всплывая на поверхность — и оглядываясь по сторонам, ища точки опоры.

Человеческая память обладает пока еще не объяснимым свойством навсегда запечатлевать всякие пустяки, в то время как самые важные события оставляют еле заметный след, а иногда и совсем ничего не оставляют, кроме какого-то общего,

трудно выразимого душевного ощущения, может быть, даже какого-то таинственного звука. Они навсегда остаются лежать в страшной глубине на дне памяти, как потонувшие корабли, обрастая от киля до мачт фантастическими ракушками домыслов.

Память моя почти ничего не сохранила из важнейших подробностей этого вечера, кроме большой руки Маяковского, его нервно движущихся пальцев — они были все время у меня перед глазами, сбоку, рядом, — которые машинально погружались в медвежью шкуру и драли ее, скубали, вырывая пучки сухих бурых волос, в то время как глаза были устремлены через стол на Нору Полонскую — самое последнее его увлечение, — совсем молоденькую, прелестную, белокурую, с ямочками на розовых щеках, в вязаной тесной кофточке с короткими рукавчиками — тоже бледно-розовой, джерси, — что придавало ей вид скорее юной спортсменки, чемпионки по пинг-понгу среди начинающих, чем артистки Художественного театра вспомогательного состава.

Это уже была не таракудка, а девушка модного типа «ай добль-добль ю», как мы тогда говорили, цитируя стихи Асеева.

С немного испуганной улыбкой она писала на картонках, выломанных из конфетной коробки, ответы на записки Маяковского, которые он жестом игрока в рулетку время от времени бросал ей через стол и, ожидая ответа, драл невычищенными ногтями пыльную шкуру медведя, «царапая логово в двадцать когтей», как говорилось в его до сих пор еще кровоточащей поэме «Про это».

Картонные квадратики летали через стол над миской с ватниками туда и обратно. Наконец конфетная коробка была уничтожена. Тогда Маяковский и Нора ушли в мою комнату. Отрывая клочки бумаги от чего попало, они продолжали стремительную переписку, похожую на смертельную молчаливую дуэль.

Он требовал. Она не соглашалась. Она требовала — он не соглашался. Вечная любовная дуэль.

Впервые я видел влюбленного Маяковского. Влюбленного

явно, открыто, страстно. Во всяком случае тогда мне казалось, что он влюблен. А может быть, он был просто болен и уже не владел своим сознанием. Всюду по квартире валялись картонные кусочки, клочки разорванных записок и яростно смятых бумажек. Особенно много их было в корзине под письменным столом.

В третьем часу ночи главные действующие лица и гости — статисты, о которых мне нечего сказать, кроме хорошего, — всего человек десять, — стали расходиться.

Маяковский торопливо кутал горло шарфом, надевал пальто, искал палку и шляпу, насморочно кашлял.

— А вы куда? — спросил я почти с испугом.

— Домой.

У него всегда было два дома. Комната у Бриков и комната в большом доме на Лубянском проезде, где он работал: большое, конструктивно-целесообразное шведское бюро желтого дерева; стул; железная кровать; на пустой стене небольшая распространенная фотография Ленина на трибуне; та самая комната, в которой:

«Я и Ленин — фотографией на белой стене».

Сюда пришел я однажды к Маяковскому пригласить его сотрудничать в «Красном перце» и помню его коротко остриженного под машинку, веселого, задиристого, боевого, полного жизни и энергии; он тотчас же изъявил готовность тряхнуть стариной, вспомнить сатириконовские времена. Тут же, стоя во весь свой могучий рост возле этого самого шведского бюро, он предъявил журналу свои условия и обязался приходить на все редакционные, так называемые темные (от слова «тема») заседания, что исполнял всегда с точностью настоящего, профессионального журналиста.

На первом же заседании он буквально завалил нас темами, мелочишками, идеями, подписями под рисунками, так что журнал сразу засветился всеми красками «маяковской сатиры», его неповторимого юмора.

Мне казалось, что это было очень давно, вечность назад, хотя на самом деле прошло не больше шести лет. Как сказал бы Бунин:

«Прошло с тех пор целых шесть лет, протекло, как песок в корабельных песочных часах»...

Внешне Маяковский мало изменился, почти совсем не постарел, но в то же время был уже совсем другим, явно отягощенным жизнью, которая каждый день требовала от него нечеловеческого творческого напряжения, отдачи всего себя без остатка делу Революции.

В передней была обычная суматоха, толкотня, назначение свиданий, неразбериха кашне, шапок, пальто, кепок; расталкивая всех локтями, подавали дамам манто. Восклицания. Извинения. Кто-то зевал — сладко, откровенно, предрассветно, по-московски.

Слышу трудное, гриппозное дыхание Маяковского.

— Вы совсем больны. У вас жар! Оставайтесь, умоляю. Я устрою вас на диване.

— Не помещусь.

— Отрублю вам ноги.

— И укроете меня Энциклопедическим словарем «Просвещение», а под голову положите юбилейный прибор вашего дяди земца?.. Нет! Пойду лучше домой. На Гендриков.

В голосе его слышалось глубокое утомление.

— Кланяйтесь Брикам. Попросите, чтобы Лиля Юрьевна заварила вам малины.

— Брики в Лондоне, — мрачно пробормотал он, и мне вдруг стало поразительно ясно, как ему одиноко по вечерам в пустой квартире на Гендриковом.

— Что же вы один будете там делать?

— Искать котлеты. Пошарю в кухне. Мне там всегда оставляет котлеты наша рабыня. Люблю ночью холодные котлеты.

Я чувствовал, что ему совсем плохо.

Прощаясь, Ливанов по московской привычке поцеловался со

мной. Маяковский в это время подавал пальто Норочке. Увидев, что мы с Ливановым целуемся, он вдвинулся между нами, ревниво отстранил Ливанова и, наклонившись, приблизил ко мне свое длинное скуластое лицо, показавшееся мне в сумерках передней громадным, чугунно-черным. Я никогда еще не видел его так близко и не представлял себе, каким пугающим оно может быть вблизи. Он как бы через увеличительные стекла заглянул в мои глаза — с торопливой нежностью, с отчаянием, — и я почувствовал на своем лице колющее прикосновение его скуластой небритой щеки. Потом он поцеловал меня громадными губами оратора, плохо приспособленными для поцелуев, и сказал, впервые обращаясь ко мне на ты, — что показалось мне пугающе-странным, так как он никогда не был со мной на ты: — Не грусти. До свиданья, старик.

И сейчас же — огромный, неповоротливый, со шляпой, надвинутой на нос, с горлом, закутанным шарфом, — вышел вслед за Норой Полонской на темную, совсем не освещенную лестницу, где Яншин, приговаривая что-то своим юмористическим театральным голосом, водил по воздуху зажженной спичкой, отчего по голой стене лестничной клетки как бы пролетела тень — черно-пепельных крыльев Азраила.

...Он зигзагами метался на небольшой высоте, облетая старинные шатровые колоколенки и повторяя ломаные повороты московских улиц и переулков, метался по предрассветному городу, шуршал над крышами угловатыми складками обугленных одежд, выставив вперед на вытянутой руке обоюдоострый меч.

Очень поздним утром меня разбудил повторный телефонный звонок. Первого я не услышал.

— Только что у себя на Лубянском проезде застрелился Маяковский.

Он выстрелил себе в сердце из маленького карманного маузера, и в тот же миг время для него уже потекло в другую сторо-

ну, «все перепуталось, и некому сказать, что, постепенно холодея, все перепуталось и сладко повторять:

Россия, Лета, Лорелея».

Сблизив головы, мы сидели в пустой, холодной пивной на Никольской против Гиза, за ярким от солнца ясеневым столиком, желтизну которого усиливали лаковые отражения жигулевского пива, падавшие из наших стаканов, к которым мы так ни разу и не прикоснулись губами, охваченные холодом сиротства, и говорили вполголоса о Маяковском — все о нем, все о нем, — напрягая все свои умственные и душевные силы, тщась объяснить то, что было, в сущности, так просто и что казалось нам тогда необъяснимым.

— Если бы Брики были в Москве, он бы этого не сделал, — время от времени повторял Бабель с горестным изумлением, почти с ужасом поднимая брови и оглядывая нас — Олешу и меня — своими маленькими, детскими кругленькими глазками — робкими, наивными и вместе с тем полными скрытого лукавства, озорства и еврейской иронии, сейчас неуместной.

Его круглые, немодные, стариковские очки в тонкой оправе как нельзя больше соответствовали характеру его лица с большим, лысым, покатым, но неровным лбом, с некоторыми вогнутостями над бровями, что делало выражение его лица еще более удивленно-напряженным. Утиный нос, срезанный на самом кончике, и тонкие улыбающиеся губы, изогнутые ижицей, как бы готовые каждый миг раскрыться для того, чтобы медлительно произнести ядовитейшее замечание, как он любил выражаться: «Замечание из жизни».

— Слушайте, я вам сейчас скажу замечание из жизни, — обычно говорил он, — недавно побывал я в нашей с вами родной Одессе. — Саркастически-благостный взгляд из-под очков. — Пошел на привоз. На наш с вами знаменитый привоз. Надеюсь, вы еще не забыли его? Такой же самый, как был при нас. Сидит торговка перед своей корзинкой с куриными яичками и на весь привоз стонет: «Ох, эта мне дороговизма!».

Но сейчас его лицо растерянно, бледно, на порозовевших веках слезы.

— Слушайте меня, поймите: мы все в этом виноваты. Все люди, которые его любили по-настоящему. Его нужно было обнять, может быть, поцеловать, сказать, как мы его любим. Просто, по-человечески пожалеть его. А мы этого не делали. Мы стеснялись быть сентиментальными. Мы обращались с ним, как с бронзовым. Уже как с памятником. А он был самый обыкновенный человек. Подверженный простудам. Вечно в гриппу. Со слабыми нервами. Почему, ах, почему вы его отпустили среди ночи, не оставили у себя?

— Но разве я мог хоть на один миг предположить, что...

— Вот именно, именно! Все относились к нему, как к бронзовому. А он был «боже из мяса — бог-человек». А главное... — тут Бабель снова посмотрел на нас — на Олешу и на меня — не то вопросительным, не то пророческим взглядом. — А главное, — медлительно проговорил он, — Маяковский был слишком идеалист. Вы знаете женщин, которые слишком страстно отдаются своей любви. Это прекрасно, но это трагично. Чаще всего они гибнут, будучи не в состоянии вынести ни малейшего охлаждения, неизбежного при длительной связи. Жизнь оказывается для них слишком матерьяльной. Их души слишком нежны, слишком легко ранимы. «Любовная лодка разбилась о быт». Это как раз тот случай. Перечтите внимательно все его стихи. Мы просто ослепли, лишились разума!

Олеша отрывисто поддакивал. Кивая своей великолепной большой головой, причесанной а ля Титус, с квадратным подбородком, что не соответствовало его небольшому росту, он говорил:

— Да, да. Совершенно верно. Бабель бесконечно прав. «Она — Маяковского тысячи лет, он здесь застрелился у двери любимой», «Не поставить ли лучше точку пули в своем конце», «Мяукал кот. Коптел, горя, ночник. Звонюсь в звонок. Аптекаря!.. Протягивает. Череп. «Яд». Скрестилась кость на кость. Кому даешь? Бессмертен я, твой небывалый гость», — понимаете, товарищи: он был небывалый гость в нашем мире! Помните?

«...И вдруг я плавно огибаю прилавок. Потолок разворачивается сам... Над домом вишу». — Олеша посмотрел своими серыми глазами слоненка вверх, как бы наблюдая человека, висящего над домом, — от возбуждения он стал, как всегда, немного шепелявить.

— «Над бандой поэтических рвачей и выжиг», — сказал Бабель, не слушая Олешу. — Ведь это же не просто так, для красного словца. Это написано кровью сердца. Значит, есть банда. Понимаете?

— Подождите, — сказал Олеша. — Это не самое странное. Самое странное, даже, я бы сказал, необъяснимое при всей своей матерьяльности, было то, что я видел вчера в Гендриковом переулке, где еще совсем недавно мы играли в карты до рассвета... Вы знаете что это? Мозг Маяковского. Я его уже видел. Почти видел. Во всяком случае мимо меня пронесли мозг Маяковского.

И Олеша, перескакивая с образа на образ, рассказал нам то, что потом с такой поразительной художественной точностью появилось в его книге — «Ни дня без строчки».

«...вдруг стали слышны из его комнаты громкие стуки — очень громкие, бесцеремонно громкие: так могут рубить, казалось, только дерево. Это происходило вскрытие черепа, чтобы изъять мозг. Мы слушали в тишине, полной ужаса. Затем из комнаты вышел человек в белом халате и сапогах — не то служитель, не то какой-то медицинский помощник, словом, человек посторонний нам всем; и этот человек нес таз, покрытый белым платком, приподнявшимся посередине и чуть образующим пирамиду, как если бы этот солдат в сапогах и халате нес сырную пасху. В тазу был мозг Маяковского»...

Молодой Олеша, молодой Бабель, молодой я. Конечно, сравнительно. Мы-то сами себе казались уже не молодыми. С легкой руки Асеева считалось, что:

«Мы никогда не встретим сорок».

Подбирались к сорока. Особенно остро ощущали это сегодня, когда вместе с Маяковским уходила какая-то часть нашей жизни.

— Теперь мы особенно нежно должны любить друг друга, — говорил Бабель, глядя меня и Олешу по плечам.

А «он» в это время лежал в правом крыле особняка на улице Воровского — бывшей Поварской, — описанного Толстым в «Войне и мире». Доме, где жили Ростовы.

Зал был узкий. Гроб был узкий, красный, по росту Маяковского — длинный. Над гробом узкая, резко обрезанная, четырехугольная черная декоративная плоскость. Она начиналась низко над изголовьем гроба и, постепенно расширяясь, косо уходила вверх, в никуда. Конструкция работы лефовца Лавинского, как бы на миг приоткрывшая что-то бесконечное, бездонное, готовое навсегда затвориться.

Гроб был мелкий, стоял не высоко, и тело спящего Маяковского в новом заграничном костюме с артистически-изогнутой кистью руки, будто бы вот только что, сию минуту, выпустившей из побелевших пальцев стилó, виднелось почти целиком, стройное, длинное, моложавое, с темными волосами, неестественно гладко зачесанными — чего при его жизни никогда не было, — а наискось через нахмуренный лоб, через переносицу тянулся свежий, синевато-чугунный шрам — след падения после того, как он выстрелил себе в сердце, и мишень щелкнула, и механизм сработал, зажужжал, и комната стала вращаться вокруг него вместе с шведским бюро, железной кроватью и фотографией Ленина на белой стене, и уже ничем нельзя было помочь и вернуть роковой порыв, и даже повернуть голову, прижатую страшной силой земного притяжения к полу, и постепенно холодея, все перепуталось... все перепуталось... все перепуталось...

В край гроба упирались ноги в больших, новых, очень дорогих башмаках заграничной работы на толстой подошве со стальными скобочками, чтобы не сбивать носки, предмет моей зависти, о которых Маяковский позавчера сказал мне в полутемной комнате: «вечные».

Я стоял с черно-красной повязкой на рукаве — в почетном карауле у его изголовья и против себя — по ту сторону лежащего Маяковского — видел его маму, маленькую старушку, и сестер в трауре, которые сидели на стульях, не спуская глаз со спящей головы их Володи.

«Allo! Кто говорит? Мама? Мама! Ваш сын прекрасно болен! Мама! У него пожар сердца. Скажите сестрам, Люде и Оле, — ему уже некуда деться».

Потом я увидел как бы все вокруг заслонившее, все облитое сверкающими слезами скуластое темнотное лицо мулата. Я узнал Пастернака. Его руки машинально делали такие движения, как будто он хотел разорвать себе грудь, сломать свою грудную клетку, а может быть, мне только так казалось.

Народу было еще не слишком много. По углам гроба бесшумно сменялся почетный караул. Не помню, была ли музыка. Наверное, была. Но она не могла заглушить тишины. Со двора по лестнице поднимались один за другим его читатели, главным образом молодежь, вузовцы, школьники, рабочие, красноармейцы, курсанты — юноши и девушки. Они шли цепочкой один за другим — заплаканные, помертвевшие — мимо узких вазончиков с длинными, бледными парниковыми розами, расставленными снизу вверх на каждой ступеньке и вдоль стены коридора, который вел к его гробу.

Они проходили мимо, видя его, быть может, впервые в жизни. Среди них несомненно была Клавдия Заремба в старой кожаной куртке и красной женотделовской косынке, которые в то время уже становились редкостью. Она плакала и вытирала слезы согнутым указательным пальцем. Она еще была молода, и в глубине ее узких таинственно-темных глаз как бы светилась лунная ночь. Она узнала меня и грустно улыбнулась.

— Видишь, какая стряслась беда, — сказала она, крепко, по-мужски, пожав мне руку, и вышла из зала.

...Потом она уехала на работу в Монголию...

А он все лежал, и лежал, и лежал на спине, уже начисто выбритый, в спокойной, совсем несвойственной ему позе, и только нахмуренный лоб со шрамом говорил о том, с каким нечеловеческим напряжением он писал и чего стоили ему его гениальные поэмы... Уже, собственно говоря, и не он, а лишь его телесная оболочка — лицо цвета магнолии и гладко причесанная голова.

«И в подошвах его башмаков так неистово виделись гвозди, что, казалось, на дюйм выступали из толстых подошв... Он толчил их — но тщетно! — наждачным километром Ниццы, он сбивал их булыжной Москвою, — но зря! И, не выдержав пытки, заплакал в районе Мясницкой, прислонясь к фонарю, на котором горела заря».

...На бульваре в Сочи черномазый глазастый мальчик проворно слазил на старую магнолию и принес мне мглисто-зеленую ветку с громадным цветком. И мальчик и цветок напомнили мне Маяковского.

«Маяк заводит красный глаз. Гремит, гремит мотор. Вдоль моря долго спит Кавказ, завернут в бурку гор. Чужое море бьет волной. В каюте смертный сон. Как он душист, цветок больной, и как печален он! Тяжелый, смертный вкус во рту. Каюта — узкий гроб. И смерть последнюю черту кладет на синий лоб».

Он уже давно существовал в каком-то другом измерении, я же продолжал двигаться во времени и пространстве, как обычно, и однажды лет тридцать тому вперед, выйдя из лифта на последнем этаже, в мокрых дождевиках, «импермеаблях», по которым как бы еще продолжали струиться отражения разноцветных огней Пасси, — жена и я очутились перед коричневой дверью. Лет сорок назад эта дверь, вероятно, была еще совсем новая, и в теплой лестничной клетке хорошо пахло дорогой масляной краской, полированным деревом, начищенной медью.

Помню маленькую желтую книжечку на столе у Бунина —

«Дверь ста печалей» Кипплинга, которая вышла тогда под его редакцией. Оказывается, Бунин очень признавал Кипплинга, что меня тогда крайне удивляло. Что общего между Буниным и Кипплингом? Мне даже подумалось тогда, что Бунин несколько рисуется любовью к Кипплингу или взялся за его редактирование лишь для того, чтобы подработать во время своей тогдашней полуэмиграции. Впоследствии я понял, что между ними, как это ни странно, много общего: ощущение наступившей в мире эпохи империализма, художественный космополитизм при остром чувстве своей национальной исключительности.

...В этой лестничной клетке я уже однажды побывал тридцать лет назад, когда на несколько недель попал в Париж, и бросился разыскивать Бунина, и очутился перед этой дверью — молодой, взволнованный, в щегольском габардиновом темно-синем макинтоше на шелковой подкладке, купленном у Адама в Берлине, в модной вязаной рубашке, в толстом шерстяном галстуке, но в советской кепке, побывавшей уже вместе со мной на Магнитострое, сдвинутой немного на ухо — под Маяковского.

Я несколько раз постучал в дверь, но, не получив ответа, уже было собрался уходить, как вдруг дверь напротив щелкнула, отворилась, и я увидел знакомое «еще с тех пор» лицо друга Бунина, художника Нилуса. Это он некогда жил в Одессе в особняке Буковецкого на Княжеской улице, на чердаке, и часто, не застав Бунина дома, я взбирался по крутой лестнице в его мастерскую, описанную в «Снах Чанга», и читал ему, вместо того чтобы читать Бунину, свои новые рассказы и стихи. У него была запоминающаяся внешность, и, по-моему, именно с него написал Бунин портрет композитора из рассказа «Ида».

«Господа, — сказал композитор, заходя на диван и валясь на него своим коренастым туловищем, — господа, я нынче почему-то угощаю и хочу пировать на славу. — Раскиньте же нам, служащий, самобранную скатерть как можно щедрее, — сказал он, обращая к половому свое широкое мужицкое лицо с узкими глазками. — Вы мои королевские замашки знаете».

А может быть, Бунин написал героя «Иды» с Ипполитова-Иванова?

Теперь уже королевских замашек не было; был обносившийся коротенький пиджачок, который он придерживал опухшей рукой на горле, но широкое, монголовидное лицо с узкими глазками осталось, хотя и заметно постарело, утратило былое оживление.

— Что вам угодно, мсье? — спросил он по-французски. — Вы, вероятно, разыскиваете господина Бунина, но его в данное время нет в Париже.

— Здравствуйте, Петр Александрович, — сказал я по-русски.

Он осмотрел меня с ног до головы, еще более сузил свои татарские глазки, но без всякого удивления, очень просто, как будто бы мы расстались вчера.

— Иван Алексеевич в департаменте Приморские Альпы, в Грассе, в квартире никого нет. Заходите ко мне, Валя. Я читал в газетах, что вы в Париже. А моих тоже никого дома. Жена и дочь в Гренобле. Я один, как перст. Что бы вам прийти позавчера? Вы бы его еще застали.

Видно, мне уже не судьба была застать его когда-нибудь.

Без преувеличения могу сказать, что вся моя жизнь была пронизана мечтой еще хоть раз увидеться с Буниным.

Я провел несколько часов в неубранной квартире Нилуса, где так по-русски на столе стоял простой эмалированный кухонный чайник и лежали глубоко русские щипчики для того, чтобы колоть твердый рафинад, хотя сахар был французский, хрупкий, маленькими кубиками. Мы пили чай вприкуску, дуя в блюдечки, и спорили, спорили до тех пор, пока у нас не осипли голоса.

Он кричал, что у нас в Советском Союзе нет свободы, а я кричал, что у них во Франции нет свободы. А потом мы оба со слезами любви и умиления кричали о Бунине, о его гениаль-

ности, неповторимости, недооцененности... А потом он начинал расспрашивать про Россию, и я рассказывал ему о гигантском строительстве, о Днепрострое, похожем в своих строительных лесах на осажденную Трою, и о Магнитогорске — металлургическом гиганте, волшебным возникающем в пустынных пугачевских степях, где стремительно бегут косые коричневые башни буров и вихри срывают палатки и несут их под облаками, как стадо диких гусей...

Париж, конечно, был, как всегда, обольстителем, но мне не хватало в нем Маяковского. Я жил в отеле, который мне некогда порекомендовал Маяковский. Его уже не было на свете, а в моей записной книжке сохранился небольшой список монпарнасских отелей, продиктованных мне Маяковским, и среди них отель «Распай», где я и поселился. Сам Маяковский, ярый «монпарнасец», обычно останавливался неподалеку, в отельчике «Истрия» на Рю Кампань Премьер, в маленьком дешевом номере. Он «сидел» в баре кафе «Куполь», где его всегда можно было застать, когда он бывал в Париже. На стене «Куполя» имеется почетная доска, длинный список знаменитых завсегда-таев этого заведения, где можно прочесть имя Маяковского. Я стал завсегдатаем «Куполя». Без Маяковского «Куполь» казался мне пустым. Здесь по утрам я работал над продолжением своей хроники «Время, вперед!», которая печаталась глава за главой в «Красной нови», а фигура Маяковского как бы незримо стояла возле моего столика. Его «Марш времени» гремел над Советской страной, приступившей к неслыханному трудовому подвигу первых пятилеток. Я был весь переполнен ритмами рождающегося социализма и все никак не мог оторваться от своей хроники и писал, писал, писал, где только мог и на чем только мог: в записной книжке, на бумажных салфетках, на коробках из-под сигарет...

Магнитогорск стал уже для меня городом Маяковского, и я нетерпеливо ждал свидания с первой, уже почти готовой, самой большой в мире домной, стремительно шагающей по

строительной площадке в своем железном расстегнутом пальто; на голову выше всех остальных объектов, плывущих в облаках раскаленной степной пыли навстречу тучам и буранам.

Вскоре я уехал в Москву, торопясь отдать очередные главы в журнал и целый день качаясь на диване в пустом купе, глотая жадно новые неизвестные мне стихи и рассказы Бунина, приводившие меня в восхищение и вместе с тем как-то тягостно меня не удовлетворявшие, в чем мне было трудно самому себе признаться. И мне хотелось плакать от отчаяния, думая о той страшной трагедии, которую пережил Бунин, о той непоправимой ошибке, которую он совершил, навсегда покинув родину. И у меня не выходила из ума фраза, которую мне сказал Нилус:

— Какие же у Ивана тиражи? Пятьсот, восемьсот экземпляров.

— У нас бы его издавали сотнями тысяч,— почти простонал я.— Поймите, как это страшно: великий писатель, который не имеет читателей. Зачем он уехал за границу? Ради чего?

— Ради свободы, независимости,— строго сказал Нилус.

Я понял: Бунин променял две самые драгоценные вещи — Родину и Революцию — на чечевичную похлебку так называемой свободы и так называемой независимости, которых он всю жизнь добивался, в чем я убедился, получив от него уже после войны, в 1946 году, одну из лучших его книг «Лику», где прочел следующие, глубоко меня потрясшие места:

«Я заходил в библиотеку. Это была старая, редкая по богатству библиотека. Но как уныла была она, до чего никому не нужна!.. Брал... всякие «Биографии замечательных людей»: все затем, чтобы в них искать какой-то поддержки себе, с завистью сравнивать себя с замечательными людьми... «Замечательные люди»! Какое несметное количество было на земле поэтов, романистов, повествователей, а сколько уцелело их? Все одни и те же имена во веки вечные! Гомер, Гораций, Вергилий, Дант, Петрарка... Шекспир, Байрон, Шелли, Гёте... Расин, Мольер... Все тот же «Дон-Кихот», все та же «Манон Леско»... В этой

комнате я, помню, впервые прочел Радищева — с большим восхищением. «Я взглянул окрест — душа моя страданиями человечества уязвлена стала!» Этот язык, этот строй души я понимал».

«...Я, как сыщик, преследовал то одного, то другого прохожего, глядя на его спину, на его калоши, стараясь что-то понять, поймать в нем, войти в него... Писать! Вот о крышах, о калошах, о спинах надо писать, а вовсе не затем, чтобы бороться с произволом и насилием, защищать угнетенных и обездоленных, давать яркие типы, рисовать широкие картины общественности, современности, ее настроений и течений!»

«Социальные контрасты!» — думал я едко, в пику кому-то, проходя в свете и блеске витрины... На Московской я заходил в извозчицью чайную, сидел в ее говоре, тесноте и парном тепле, смотрел на мясистые, алые лица, на рыжие бороды, на ржавый шелушащийся поднос, на котором стояли передо мною два больших чайника с мокрыми веревочками, привязанными к их крышечкам и ручкам... Наблюдение народного быта? Ошибаетесь — только вот этого подноса, этой мокрой веревочки!»

(Ах, этот знаменитый русский трактир, кто из поэтов не увлекался его красками. Помните, у Маяковского: «Влюбляйтесь под небом харчевен в фаянсовых чайников маки!»)

«...Сидя в санках, — читал я у Бунина в то время, как мимо окон пробегали маленькие домны Бельгии, — вместе с ними ныряя и спускаясь из ухаба в ухаб, поднимая голову — ночь, оказывается, лунная: за мутно идущими зимними тучами мелькает, белеет, светится бледное лицо. Как оно высоко, как чуждо всему! Тучи идут, открывают его, опять заволакивают — ему все равно, нет никакого дела до них! Я до боли держу голову закинутой назад, не свожу с него глаз и все стараюсь понять, когда оно, сияя, вдруг все выкатывается из туч: какое оно? Белая маска с мертвеца? Все изнутри светящееся, но какое? Стеариновое? Да, да, стеариновое! Так и скажу где-нибудь!»

Он и меня учил этому. «Опишите воробья. Опишите девочку»

ку». Но что же получилось? Я описал девочку, а она оказалась «девушкой из совпартшколы», героиней Революции. А Революции меня учил Маяковский. «Опишите Магнитогорск. Время, вперед». И девушка из совпартшколы, вернувшись из Монголии, превратилась в бригадира бетонщиков и прошла по лесам коксохима в кожаной старой куртке и выгоревшей на степном солнце красной косынке.

Иногда на некоторое время я снова превращался в Пчелкина, который продолжал заниматься поэзией, а стихи Пчелкина были так себе, в духе раннего, еще очень сырого мовизма.

«Весну печатью ледяной скрепили поздние морозы, но пахнет воздух молодой лимонным запахом мимозы, и я по-зимнему бегу, дыша на руки без перчаток, туда, где блещет на снегу весны стеклянный отпечаток.— Был май, стояли ночи лётные и в белом небе без движения висели мертвые животные аэростатов заграждения.— Уже давно, не день, не два, моя душа полужива, но сердце ходит, дни кружатся, томя страданием двойным, что невозможно быть живым и трудно мертвым притворяться.— Когда я буду умирать, о жизни сожалеть не буду, я просто лягу на кровать и всем прощу и все забуду.— Величью цезаря не верь, есть только бронзовая дверь, во тьму открытая немного, и два гвардейца у порога.— То очень медленно, то быстро неуловимая звезда, всегда внезапная, как выстрел, блеснувши, гасла без следа».

У них у обоих учился я видеть мир — у Бунина и у Маяковского... Но мир-то был разный.

Бунин думал, по-видимому был глубоко убежден, что он совершенно независимый, чистый художник, изобразитель, ничего общего не имеющий ни с «социальными контрастами», ни с «борьбой с произволом и насилием, с защитой угнетенных и обездоленных» и, уж конечно, ничего общего не имеющий с Революцией, точнее сказать, никак не принимающий ее, даже прямо враждебный ей.

Это была лишь детская иллюзия, порыв к воображаемой художественной независимости.

Если бы Льву Толстому, который начисто отрицал всяческую Революцию, был глубоко ей чужд, считал ее делом абсолютно не моральным, в один прекрасный день сказали, что он зеркало русской революции, то он бы, наверное, был возмущен до глубины души, совершенно искренне считая, что это вздор. И, одна-ко же, это истина.

Бунин хотел быть совершенно свободным от каких бы то ни было обязательств по отношению к обществу, в котором он жил, по отношению к родине. Ему думалось, что, попав в эмиграцию, он добился своего. За границей он казался сам себе совершенно свободным писать все, что ему вздумается, не подчиняясь ни государственной цензуре, ни суду общества. До Бунина не было никакого дела ни французскому государству, ни парижскому обществу, ни католической церкви. Он писал все, что хотел, не сдерживаемый никакими моральными обязательствами, даже иногда простыми приличиями. Как изобразитель он рос и к концу своей жизни достиг высшей степени пластического совершенства. Но отсутствие морального давления извне привело к тому, что Бунин-художник перестал выбирать точки приложения своих способностей, своих душевных сил. Он не смог справиться с «тысячеглавой гидрой эмпиризма», о которой говорил Гёте, и она поглотила его, вернее он был разорван на куски, как глубоководная рыба, привыкшая к постоянному давлению десятков, сотен, может быть тысяч, атмосфер и вдруг оказавшаяся на поверхности, почти не испытывая больше никакого давления.

Для него художественное творчество перестало быть борьбой и превратилось в простую привычку изображать, в гимнастику воображения.

Я вспомнил его слова, некогда сказанные мне, что все можно изобразить словами, но все же есть предел, который не может преодолеть даже самый великий поэт. Всегда остается нечто «невыразимое словами». И с этим надо примириться. Может быть, это и верно. Но дело в том, что Бунин слишком рано поставил себе этот предел, ограничитель. В свое время мне тоже

казалось, что он дошел до полного и окончательного совершенства в изображении самых сокровенных тонкостей окружающего нас мира, природы. Он, конечно, в этом отношении превзошел и Полонского и Фета, но все же — сам того не подозревая — уже кое в чем уступал Иннокентию Анненскому, а затем Пастернаку и Мандельштаму последнего периода, которые еще на какое-то деление передвинули шкалу изобразительного мастерства.

Но все равно ему всегда было далеко до Пушкина, который сказал в «Барышне-крестьянке» — «маленькие пестрые лапти...».

Все эти мысли пронеслись в моей голове в то время, как мы, позвонив, стояли перед дверью Бунина и вслед за тем она щелкнула, отворилась и я на фоне совсем не парижской, а какой-то весьма старорежимной, московской запущенной прихожей увидел перед собой Веру Николаевну, высокую, нескладную, дурно одетую, глубокую старуху, опустившуюся, добрую, бессильную барыню, в больших стоптанных туфлях, сохранившую в своих повадках нечто свойственное московской курсистке старых времен из либеральной семьи. Ее некогда светло-льняные легкие волосы давно уже поредели, побелели, как снег, но все еще были убраны жидким узлом на затылке, а заострившийся хрящеватый нос с лазурными прожилками возле некогда прекрасных голубых глаз, ее чистый лоб — по-прежнему чем-то напоминали греческую богиню. Я думаю, ей уже шел девятый десяток.

Радостно и грустно, сквозь слезы, рассматривала она нас, и я чувствовал даже как бы нечто родственное в ее измученном, прозрачно-белом, бескровном добром лице.

— Вот мы и свиделись наконец с вами, Валя, — сказала она, покачивая немного трясущейся головой, — а вашу жену мы себе с покойным Иваном Алексеевичем именно такой и представляли, детей же ваших никак не могли себе вообразить. Ивану Алексеевичу это казалось как-то совсем невероятно: дети Вали Катаева! Знали только, что есть мальчик и девочка.

— А недавно появилась еще и внучка, — сказал я не без хвастовства.

— Боже мой, боже мой,— воскликнула Вера Николаевна, сплетая и расплетая свои старческие пальцы.— Ведь мы, Валя, виделись с вами последний раз сорок лет назад. Сорок лет! Мы даже не успели проститься.

— Я лежал в сыпняке.

— Мы это знали. Иван Алексеевич даже порывался поехать к вам в госпиталь... Но ведь вы знаете Ивана Алексеевича... его боязнь заразиться... Он был уверен, что вы не выживете, а я верила... И молилась за вас и верила... А потом еще сколько раз... И то, что я снова вижу вас, того самого, живого... Но не будем лучше об этом говорить... Все это невероятно, невероятно... А вы помните,— вдруг с оживлением сказала она помолодевшим голосом светской дамы,— Наташу Н.? Какая была прелестная девушка, не правда ли? И вы так подходили друг другу. Мы с покойным Иоанном исподтишка любовались вами. И потом часто, часто вспоминали.

У меня хорошая память, но, как ни странно, именно эту прелестную шестнадцатилетнюю девушку я почему-то очень быстро забыл, никогда больше о ней не думал, и только сейчас, после слов Веры Николаевны, вдруг на меня нахлынули воспоминания о каких-то лунных, поразительно ярких ночах над серебристым морем, жарком полуночном ветре, торопливо бегущем по серебряным кустам степной полыни с ее странным, неприятно-бальзамическим ароматом, о веточке слишком ярко-белого при лунном свете жасмина с желтой серединкой каждого светящегося цветка, которая украшала аристократически-маленькую черноволосую головку Наташи, своим большим ртом и оживленно страстными глазами напоминавшую Наташу Ростову.

Быть может, за это сходство и запомнил Бунин ее, а в паре с ней и меня?

Нет слов, она была хороша, но я не запомнил ее, а на всю жизнь врезалась в мою память та маленькая босая девочка, которую Бунин несколькими годами раньше, на даче Ковалевского, велел мне описать!

— Так вот вы какая! — обратилась Вера Николаевна к моей жене и поцеловала ее в мокрую от слез щеку. — Иван Алексеевич любил Валю, всегда о нем помнил, все о нем знал, читал все, что он написал, и гордился его успехами. Ведь Иван Алексеевич был литературным крестным отцом вашего мужа, — прибавила она, строго взглянув на жену, а я смотрел на нее с тем же тревожным вниманием, с каким некогда молодой Бунин смотрел на луну, желая возможно точнее определить, какая она? Стеариновая?

Мне кажется, я нашел определение того белого цвета, который доминировал во всем облике Веры Николаевны. Цвет белой мыши с розоватыми глазами.

Она повела нас в столовую, и опять меня поразила запущенность, чернота ненатертого паркета, какой-то ужасно дореволюционный русский буфет с прожженной в нескольких местах доской, обеденный стол, покрытый тоже какой-то дореволюционной русской клеенкой, рыжей, с кружками от стаканов в разводах, с обветшалыми краями и на проволочной подставке обожженный газом чайник, разнокалиберные русские кузнецовские и французские лиможские чашки и среди них — тарелка с меренгами — украшение стола.

— Ваши любимые, — сказала она, заметив удовольствие, с которым я посмотрел на меренги.

— Откуда вы знаете, что я люблю меренги?

— Помню, — грустно ответила она. — Однажды вы сказали, что когда разбогатеете, то будете каждый день покупать у Фанкони меренги со взбитыми сливками.

— Неужели я это говорил?

— Конечно. Еще Иоанн ужасно над этим смеялся: как мало ему нужно для счастья! Разве вы не помните, как однажды у Наташи Н. за чаем вы съели все меренги, так что ее великосветская маман едва не отказала вам от дома?

— Вы и это помните!

— Я все помню, — грустно сказала она, покачивая трясущейся головой.

Тут же я представил себе, как она под зонтиком в старом «импермеабле» шла под дождем на сияющую ртутно-белыми лампами витрин площадь Мюэтт в кондитерскую и как мадемуазель в кружевном фартучке, отставив розовый пальчик с отделанным перламутровым ноготком, осторожно брала широкими серебряными щипцами хрупкие меренги со взбитыми сливками и укладывала их рядом, как детей, в картонную коробку.

— Вот—Иван Алексеевич, тот, которого вы знали,—сказала она, вводя нас в маленькую комнатку, где на стене на темных ветхих обоях был устроен как бы небольшой иконостас — фотографии Бунина разных лет и среди них — «тот Бунин, которого я знал», — наиболее известная, дореволюционная его фотография: Ив. Бунин, академик, в зените славы, на всю жизнь запомнившиеся мне черты надменного лица с треугольной щегольской бородкой и дальнозоркими, как бы заплаканными глазами.

Была здесь фотография и другого Бунина, того, которого я не знал, — молодого, в черной бурке на плечах и дворянской фуражке, а также Бунина последних лет, без усов и бороды, с наголо выбритым мускулистым старческим лицом, но все с тем же острым взглядом, может быть еще более высокомерным, непреклонным, как бы говорящим: к прошлому возврата нет! — но все с теми же узкими козыми щеками, так что в нем без труда узнавался прежний Бунин.

— Вообразите себе, — говорила Вера Николаевна, следя за выражением моего лица, с каким я разглядывал фотографии Бунина. — В один прекрасный день является из парикмахерской без усов и без бороды. Я так и ахнула! Первое время никак не могла примириться: что-то актерское, иностранное, голое, а потом привыкла. Но объясните мне, бога ради, зачем это ему понадобилось!

Я уже много раз до этого видел фотографии бритого Бунина и привык к его новому лицу. Для меня старый и новый Бунин как бы слились в нечто единое, мало чем отличающееся от моего привычного представления о нем. Это был все тот же человек, художник, поэт, учитель, великий изобразитель природы, тот самый, который, будучи еще совсем молодым человеком, написал:

«Вот капля, как шляпка гвоздя, упала — и, сотнями игол затоны прудов бороздя, сверкающий ливень запрыгал» — строки, удивительные тем, что потом множество раз на всякие лады повторялись, как свои, разными посредственными прозаиками и поэтами, наивно уверенными, что это именно они открыли сходство упавшей капли со шляпкой гвоздя, не подозревая, что магическая сила этого образа заключается не в зрительном сходстве с гвоздем, а в звуках «пля» и «шля», вызывающих в представлении читателя не произнесенный поэтом, но как бы, таинственно присутствующий за пределами словесной ткани звук этой самой капли, похожей на шляпку гвоздя, — звук шлепанья по воде пруда.

Хотя должен заметить, что старик Некрасов задолго до Ивана Алексеевича написал: «Светлые, словно из стали, тысячи мелких гвоздей шляпками вниз поскакали».

Однажды, желая как бы навсегда покончить с прошлым, Бунин решительно сбрил усы и бородку, бесстрашно обнажив старческий подбородок и энергичный рот, и уже в таком обновленном виде, во фраке с крахмальным пластроном на широкой груди, получил из рук шведского короля диплом Нобелевского лауреата, золотую медаль и небольшой портфель желтой тисненой кожи, специально расписанной красками в «стиле рюс», которого Бунин, кстати сказать, не переваривал.

Показала нам Вера Николаевна также и пожелтевшую французскую газету, где во всю страницу и во весь рост все в том же фраке, с выставленным вперед голым католическим подбородком был изображен лауреат «При Нобэль» Жан Бунин, и во всем этом было что-то бесконечно горькое, я бы даже сказал, жестоко бессмысленное.

— Вот здесь, на этом «сомье» Иван Алексеевич умер. — И Вера Николаевна подошла к продавленному, на ножках, покрытому ветхим ковром матрацу, в изголовье которого на столике стояла старинная, черно-серебряная икона-складень, с которой Бунин никогда не расставался, возил с собой повсюду. Тут

же на стене висело еще несколько иконок в золоченых окладах, крестильных крестиков и даже, кажется, граненых пасхальных яичек, но все это лишь подчеркивало нищенский вид ложа, на котором умер Иван Бунин.

— Как это было? — спросил я.

— Иван Алексеевич обладал железным здоровьем, он почти никогда не болел. Врачи говорили, что у него грудь молотобойца. У него за всю его жизнь была одна-единственная болезнь. Вы знаете эту единственную болезнь Бунина, — сказала Вера Николаевна с полуулыбкой, обратившись ко мне, как к «своему человеку», перед которым нечего стесняться. — Геморрой. Но от геморроя не умирают, — грустно улыбнулась она. — Иван Алексеевич умер просто от старости. Ему уже было восемьдесят три года. В последнее время он очень ослабел. Его нужно было на руках носить в ванну, чтобы выкупать. Не желая его оставлять одного ночью, я спала вместе с ним на этом соме, ложась у него в ногах — тихонько, калачиком, лишь бы не потревожить.

Седьмого ноября — в тот самый день, когда вы праздновали годовщину своей Революции, — вечером он заснул и спал все время довольно спокойно. Но вдруг в третьем часу вскочил, как от удара электрического тока, и, толкнув меня, сел на постели с выражением такого непередаваемого ужаса на лице, что я похолодела и поняла — это конец. При свете мутных ночных огней Пасси мне даже показалось, что остатки его серо-белых волос поднялись над худой плешивой головой. Он что-то хотел сказать, может быть даже крикнуть, дернулся всем своим старческим, костлявым телом, и вдруг рот его странно разинулся, нижняя челюсть отвалилась вот так...

Вера Николаевна с привычным автоматизмом изобразила предсмертную конвульсию Бунина, ее рот странно разинулся, нижняя челюсть отвалилась, и я вдруг как бы воочию увидел перед собой лицо Бунина в последний миг его жизни, обезумевшие белые глаза Иоанна Грозного, череп, покрытый холодным потом, черный провал разинутого рта с отвалившейся челюстью.

— И он свалился на кровать мертвый. Я подвязала ему челюсть салфеткой, привела в порядок его еще теплое тело, сложила на груди его высохшие руки, закрыла глаза, надавив на веки большими пальцами, и до утра никому не стала звонить. Остаток ночи, нашей последней ночи, провела я, по-прежнему лежа у его холодеющих ног, на рваной простыне, под совсем прохудившимся одеялом, вспоминала нашу с ним мучительно трудную жизнь вдвоем, нашу былую любовь, наши скитания, и плакала, плакала, плакала одна с ним наедине до тех пор, пока не выплакала всех слез. С тех пор я уже больше не в состоянии плакать. У меня вечно сухие глаза. Нет слез, нет больше слез.

Через некоторое время — вскоре — я узнал, что Вера Николаевна умерла, и я представил себе Пасси, площадь Мюэтт, маленькую улицу Жак Оффенбах и на некоторое время опустевшую квартиру, давно не ремонтированную, запущенную, с застарелыми запахами несвежего постельного белья, с немытыми окнами, за которыми по вечерам виднелись огни Парижа, с ванной комнатой, где на веревочках сушилось штопаное белье и на дне облупившейся ванны желтела не спущенная вода, а в уборной черные толстые трубы отстойника и чугунный бачок сочились ржавыми каплями холодной воды и деревянное сиденье стояло в сыром углу, как хомут, и плитки пола были слегка заслякочены, а в открытые двери кухни виднелась покрытая пожелтевшими листьями «Фигаро» газовая плита с немытыми кастрюлями, а в углу, перевязанная шпагатом, стояла стопка авторских экземпляров «Темных аллей».

Но была прелестная французская весна, слегка дождливая, с голубыми просветами в мутном движущемся небе, с солнечным туманом над грифельными черепичными крышами старинных городков, над готическими и романскими соборами, над лугами, рощами и цветущими каштанами — розовыми и белыми — вокруг замков и нормандских ферм, и мы возвращались в Париж из поездки по берегам Ла-Манша.

Зимой я летал в Магнитогорск, а когда вернулся в Москву, то через некоторое время получил из Магнитогорска письмо, написанное неразборчивым, незнакомым мне почерком.

«Что же ты не зашел, собака, навестить меня, когда приезжал к нам. Я уже давно живу в Магнитогорске у своей старшей, нянчу ее пацанов, конечно, уже на пенсии, но на общественных началах читаю у нас в домоуправлении лекции по истории партии. Последнее время сильно болею. Сломала ногу. Лежу дома, а то бы тебя разыскала. Недавно меня положили в клинику, резали, зашили, сказали, что все в порядке, ничего нет, скоро поправлюсь. А по-моему, врут. Тоже гуманисты нашлись. Чувствую, что скоро отдам концы. Может быть, больше никогда не увидимся. Одному тебе признаюсь перед смертью: я любила его и не забывала ни на минуту всю свою жизнь. Ты знаешь кого. Но моя совесть перед нашей Революцией и перед собой чиста: не я его предала, а он предал Родину. И мы его казнили. Это только справедливо. Я не жалею. Он заслужил смерть. Но я его все-таки любила. Хочешь знать правду — и сейчас люблю, пишу это перед смертью. Сердце у меня давно вырвано. Прощай, старый товарищ. Царапаю тебе потому, что больше никого не осталось из друзей того времени. Вряд ли переживу эту зиму. Все хуже мне и хуже. Они меня утешают, что я еще встану на ноги, но я чувствую правду. Я ее не боюсь. Привет тебе и братство, как мы говорили друг другу в то незабвенное время. А все-таки наша Революция победила! Я знаю, ты меня тоже любил, но только на одну минуточку, на один миг. И за то тебе спасибо, ты бы меня не узнал — такая страшная.

Жму руку. Твоя Заремба Клавдия».

Вскоре я узнал, что она умерла, и представил себе... нет, не представил, а вообразил вид Урала с высоты нескольких километров — двух или трех. Уральские горы сплошь покрывали темные зимние тучи, непроницаемые для глаза, и лишь в одном месте из-под них, подобно ключу среди волнистой пустыни, вы-

бывались какие-то дымы, которые я сначала принял тоже за тучи, но потом по их оттенкам понял, что это дымы невидимого внизу Магнитогорска, и самолет, полуопрокинувшись над ними, описывал круг и снижался, чтобы идти на посадку. Вокруг стемнело. Потом я ехал с аэродрома к центру в машине, которая как бы с усилием пробивалась сквозь плотные облака сорокаградусного мороза, среди гипсовых уральских снегов, леденцово освещенных медно-розовым кружочком крещенского солнца, лишённого лучей. Впереди до половины небосвода возвышалась как бы некая гора, состоящая из разноцветных — угольно-черных, ярко-белых, рыже-коричневых, лимонных, аметистовых — дымов, медленно вылезающих, как бараны, из двухсот труб металлургического комбината, который длинно лежал в сумраке у подножия этой дымовой горы скоплением покрытых инеем доменных печей, мартенов, висящих в воздухе газопроводов, извивающихся, как огромные удавы, эстакад, высоковольтных передач. Машина как бы въезжала в темную пещеру дыма, но по мере продвижения вперед дымные стены раздавались на стороны, солнечные лучи проникали сквозь топазовые глыбы пара и дыма, нарядный январский день горел вокруг, и на фоне густой ляпис-лазури неба, над низкими узорчатыми оградами, отлитыми из магнитогорского чугуна, отчетливо выступали сады и аллеи, обросшие толстым слоем инея. Каждое дерево и каждый куст — карагач, сирень, тополь, липа, — которые я видел еще саженцами, теперь представляли чудо зимней красоты: иные из них напоминали волшебные изделия русских кружевниц, иные стояли вдоль палевых и розовых многоэтажных жилых корпусов, как некие белокаменные скульптуры, иные были разительно схожи с хрупкими кустами известковых кораллов синеватого подводного царства, иные — с ветвистыми оленьими рогами, пантами, осыпанными мельчайшими, пылевидными осколками уральских самоцветов, и город Магнитогорск, потонувший в облаках солнечного тумана, был сказочно хорош в своем царственно-русском горностаевом убранстве — город осуществленной мечты, — провожавший в последний путь под звуки медного духового оркестра грузовик с красным, очень ярким,

почти светящимся, как брусок раскаленного железа, гробом, в котором, вытянув руки со сжатыми смугло-известковыми пальцами, лежала, навсегда закрыв глаза, Клавдия Заремба — девушка из совпартшколы.

А ночью волшебным сияли ярчайшим зелено-голубым светом сплошные клетчатые окна кислородного завода и облака пара клубились над теплым Магнитогорским морем, куда, как таинственный град Китеж, ушла навсегда старинная казачья церковь бывшей крепости Магнитной, упомянутой Пушкиным в «Истории Пугачева».

...Пепельница. Салют и братство. Ангел Смерти. Заморский страус. Книга сновидений. Девушка из совпартшколы. Клавдия Заремба. Пчелкин. Два поэта...

Посмотрев вокруг, я с удивлением увидел цветущие каштаны и кладбищенскую стену с открытыми воротами.

— Господа, может быть, вы пожелаете посетить русское эмигрантское кладбище? Здесь есть любопытная церковка в древнем новгородском стиле, построенная по эскизам покойного русского художника Александра Бенуа. И, если хотите, можете здесь же увидеть могилу «При Нобель» Бунина, которого вы, кажется, знали. Гастон, остановитесь. Мы выйдем на несколько минут.

Носатый старик со следами военной выправки, в пенсне, с белой пуговичкой слухового аппарата в ухе — по-видимому, из бывших русских — продавал у кладбищенских ворот очень крупные французские ландыши. Я выбрал в плоской камышовой корзине букетик и вдруг узнал его: это был Петька Соловьев, тот самый, но только постаревший лет на сорок пять. Вероятно, смятение, даже ужас выразились на моем лице, потому что он улыбнулся заученной, самолюбивой улыбкой, показав неисправные зубы, и сказал:

— Да, да. Не падай в обморок. Ты не ошибся. Это именно я сам.

— Но ведь тебя расстреляли, — пробормотал я. — Я собственными глазами читал в газете список.

— Я тоже собственными глазами читал этот список. Однако — ничего подобного. По дороге из тюрьмы в гараж я выскочил из грузовика и драпанул через стенку второго христианского кладбища. Они выстрелили по мне пару раз из винтовок и наганов, но промазали, а вместо меня во избежание неприятностей Ангел Смерти вывел в расход для ровного счета какого-то налетчика и подсунул в список вместо меня.

Сначала я остолбенел, но потом пришел в себя. А почему бы, собственно говоря, и нет? Ведь бывали же подобные случаи в то время.

— И что же ты здесь делаешь? — спросил я, чтобы что-нибудь спросить.

— Сам видишь. Кто я? Ни то ни се. Политикой не занимаюсь, так что ты меня не бойся. Я лояльный. Иногда читаю ваши газеты, слушаю радио и завидую вам. Дурак я был. Честно говорю, как перед богом. Горько мне, понимаешь. Внуки у меня французы, — сказал он, и мне показалось, что он собирается заплакать. — Жизнь как в печке сгорела!

— Клавдию Зарембу помнишь? — спросил я. — Она совсем недавно умерла в Магнитогорске.

— Как — говоришь?

— Заремба Клавдия.

На его лице выразилось тупое напряжение, как у глухонемого.

— А кто она?

— Тогда была комсомолка.

— Ах, та, черненькая комсомолочка... Да-да... Что-то такое смутно припоминаю... Но ведь прошло столько лет! — прибавил он, как бы извиняясь. — Разве все запомнишь...

И он стал перекладывать в своей корзине букетики.

О чем нам еще было говорить?

Могила Бунина оказалась совсем не такой, как представлял сам Бунин, в середине своей жизни, еще живя в России:

«Могильная плита, железная доска, в густой траве вырастающая в землю... Под эту же плиту приду я лечь — и тихо лягу, с краю».

И не такой, которая виделась ему уже в изгнании:

«Пылай, играй стоцветной силою, неугасимая звезда, над дальнею моею могилою, забытой богом навсегда!»

Смотритель кладбища, небрежно одетый русский господин, с несколько иронической улыбкой на потертом, но еще вполне приличном лице — чем-то неуловимо похожий на моего Петьку Соловьева, — повел нас по прямой аллейке, мимо православных крестов и высоких надгробий, и остановился возле серого гранитного креста не совсем обычной формы, напоминающего скорее какой-то каменный орден, может быть даже георгиевский крест, но только приземистый, темный, тяжелый.

— Вот ваш Бунин, любуйтесь, — сказал смотритель. — А что касается креста, то знатоки уверяют, что это копия какого-то не то древнерусского, псковского, не то византийского памятника старины, найденного когда-то, как-то, при каких-то раскопках — не сумею вам точно сказать, при каких, так как я в области археологии полный профан, — что же касается места могилы, то, как видите, не слишком на задворках и вокруг вполне приличное общество, — сказал он, указывая гостеприимным жестом на соседние могилы, где можно было прочесть несколько некогда очень известных русских фамилий, ныне уже давно у нас забытых.

Их тащат к нам со всего мира: из Англии, из Швейцарии, даже везут из Америки на пароходах. Ничего не поделаешь. Наиболее респектабельное православное эмигрантское кладбище. Скоро не останется ни одного свободного участка. Уже начинаем в одной могиле хоронить по два человека, разумеется одной фамилии. Например, в могилу Ивана Алексеевича Бунина — у него в ногах — пришлось недавно закопать Веру Нико-

лаевну. Так что теперь наконец они навсегда соединились, лежа под одним крестом.

Он хозяйственно подгрёб ногою к сторонке несколько черепков битых вазонов, какие-то засохшие цветы, еще не успевшие полинять траурные ленты, проволоочный остов небольшого, по-французски круглого венка...

— Остатки ее похорон, — заметил смотритель безразлично. — До сих пор не удосужились убрать этот мусор. Придется сделать серьезный нагоняй сторожу. Эге, — сказал он, посмотрев тревожно на небо, где над голубыми елочками, над купами цветущих каштанов, из-за которых выглядывали синий купол и белые стены прелестной древнерусской церковки, как-то незаметно сгруппировались темноватые тучи, сильно разбавленные свинцовыми белилами, и вдруг вверх, как бы по пороховому шнуру, побежал летучий огонек, над самой головой блеснуло, сухо затрещало, как подожженная шутиха, и мелкие раскаты сухого апрельского грома посыпались вниз, напоминая грохот небольшого горного обвала.

...Московское время десять часов. В эфире эстрадные мелодии...

Неужели всему конец?

Голубой ливень повис над вьющимися кладбищенскими розами, над желто-красными пальчиками бигноний, над каменным крестом с золотыми именами Бунина и Веры Николаевны, смиренно лежащей у него в ногах, милой, доброй, старой русской женщины — московской курсистки, — на могилу которой я и положил букетик ландышей, но при этом не мог не вспомнить стихи Ивана Алексеевича:

«В голых рощах веял холод... Ты светился меж сухих, мертвых листьев... Я был молод, я слагал свой первый стих — и навек сроднился с чистой, молодой моей душой влажно-свежий, водянистый, кисловатый запах твой!»

— А где любимая пепельница Ивана Алексеевича, — спросил я во время последнего свидания с Верой Николаевной, — помните, та самая, которая всегда стояла на лаковом круглом столе, на Княжеской, в доме Буковецкого? Сохранилась ли она?

— Вы ее запомнили? — спросила Вера Николаевна, и робкая черта оживления тронула ее бескровное, белое, старческое лицо.

— На всю жизнь, — ответил я.

Тогда она, постояв некоторое время на одном месте и глядя прямо мне в глаза с нежной, глубокой грустью, пошла в другую комнату и скоро вернулась, держа в крупных ревматических руках так мучительно знакомую и дорогую для меня пепельницу.

— Эта? — спросила Вера Николаевна.

Я ничего не ответил, не в силах оторвать глаз от этой тонкой латунной чашки, пиалы, с восточным орнаментом, которая теперь показалась мне гораздо меньше, чем была когда-то, как будто бы уменьшилась от старости. Теперь она не была начищена суконкой и не блестела, как жар, и внутри сплошь почернела, как та лампада, которую однажды нашел Бунин в горах Сицилии...

Бигнония. Ода Революции. Четырежды благословенная.

«Ты, сердце, полное огня и аромата, не забывай о ней. До черноты сгори».

Или лучше всего так:

«Играй же, на разрыв аорты, с кошачьей головой во рту, — три черта было, — ты четвертый: последний, чудный черт в цвету!»

1964—1967

Переделкино

К читателям

*Издательство просит отзывы
об этой книге присылать по адресу:
Москва, А-47, ул. Горького, 43.
Дом детской книги.*

ДЛЯ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Катаев Валентин Петрович

ТРАВА ЗАБВЕНЬЯ

Ответственный редактор
Н. С. Абрамова.

Художественный редактор
Б. А. Дехтерев.

Технический редактор
И. П. Савенкова.

Корректоры

Т. П. Леязеровичи В. К. Мирингоф.
Сдано в набор 9-V 1967 г. Подписано к печати 21-VIII 1967 г. Формат 60×84/16. 14 печ. л. 13,06 усл. печ. л. (10,82 уч.-изд. л.). Тираж 100 000 экз. А 01581. Цена 56 коп. на бум. № 1.

Издательство „Детская литература“.

Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика „Детская книга“ № 1 Росглавполиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР. Москва, Сушеvский вал, 49.
Заказ № 860.

56 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»